# К. Паустовский

## Рассказы



Библиотечка узбекского школьника



К. Паустовский

# К. ПАУСТОВСКИЙ

## РАССКАЗЫ



ТАШКЕНТ «УҚИТУВЧИ» 1983

Составитель и автор вступительной статьи

*П. КРЕМЕНЦОВ*



П $\frac{4306030000-189}{353(04)-83}$ 314—83

## ПРИЗВАНИЕ КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО

На страницах этой книги вас ожидает встреча с писателем, убеждённым, что мир полон добра и красоты и что «есть в каждом сердце скрытая струна — она отзовётся даже на слабый призыв прекрасного».

Искусству видеть мир и открывать в нём прекрасное — в людях, в природе, в творчестве,— пробуждать созвучие ему в человеческих сердцах известный советский писатель Константин Георгиевич Паустовский (1892—1968) посвятил всю свою долгую жизнь в литературе.

### I.

С юных лет Паустовский был убеждён в особой, высокой и важной роли литературы в жизни человека и общества и постоянно подчёркивал огромную ответственность художника перед народом: «Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание».

Судьба его была необычна. Восемнадцати лет он принял решение: «Я буду писателем». Тогда же были напечатаны его первые рассказы. Но несмотря на успешный литературный дебют, Паустовский прервал писательскую деятельность: «Задумавшись над тем, о чём же я буду писать, я вдруг с ужасом понял, как беден мой запас жизненных наблюдений. Сознание того, что я до обидного мало знаю жизнь, заставило меня бросить писать и уйти в люди, в те «горьковские университеты», которые создают биографию человека». Это случилось накануне первой мировой войны.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции явилась началом новой эры в истории человечества. Опытные, сложившиеся художники — А. М. Горький, В. В. Маяковский, А. С. Серафимович, А. А. Блок — и молодые начинающие писатели искали

и находили своё место в революционных событиях всемирно-исторического значения. Жизнь требовала чётких политических и эстетических позиций.

Привязанности и симпатии Паустовского, воспитанного на лучших демократических традициях русской классической литературы XIX века, определились ещё в юности. Революция утвердила его в правильности выбранного пути. «Народ учится ходить, делает первые неуверенные шаги, и единственное, что нужно сейчас,— это только поддержать его, идти к нему, говорить простые, понятные слова о его жизни и счастье, его доле и будущем, помочь ему найти самого себя»,— писал он за полтора месяца до Великой Октябрьской социалистической революции, утверждая, что золотой век искусства не позади, а впереди, что «своими образами, выплавленными на революционном огне, своими порывами, созданием новых ценностей» искусство поможет человеку решить задачу «по творчеству самого себя», «самой жизни во всём её целом, жизни трепетной, одухотворённой, прекрасной». Теперь, считал молодой писатель, «под знаком красоты должна быть создана вся, даже будничная, повседневная человеческая жизнь».

В это время Паустовский уже работал над своим первым крупным произведением «Романтики», где в меру своего тогдашнего мастерства и таланта пытался реализовать эти принципы.

Октябрьскую революцию писатель встретил в Москве, «стал свидетелем многих событий 1917—1919 годов, несколько раз слышал Ленина и жил напряжённой жизнью газетных редакций».

Следующие пять лет снова прошли в скитаниях: Киев, Одесса, Сухум, Батум, Тифлис, Армения, Персия — и только в 1923 г. снова Москва. В это время Паустовский печатался мало. Только в начале 30-х годов он смог целиком посвятить себя художественному творчеству.

В 1925 году вышла первая книжка писателя — «Морские наброски». В неё вошли рассказы и очерки, частично опубликованные ранее в Одессе и в Москве.

Произведения Паустовского 20-х годов — это очерки и рассказы, созданные на материале богатого жизненного опыта писателя, путевые заметки, зарисовки, литературные портреты и т. п. На них нет никакого на-

лёта книжности. Они тесно связаны с новой, советской действительностью, выражают её пафос.

В известной мере противостоят им «экзотические» рассказы: «Белые облака» (1920 г.), «Лихорадка» и «Этикетки для колониальных товаров» (1924 г.), «Жара» (1928 г.) и другие. Их немного, но они важны для понимания природы художественного таланта писателя и характера его творческой эволюции.

В конце 20-х годов страна превращалась в огромную стройку. Читатель ждал от литературы немедленного и документального отклика на происходящие события. Бурно расцвёл жанр очерка.

Паустовский, как и все советские литераторы, много работает в этом жанре. К этому времени им был накоплен значительный опыт. Его дала писателю многолетняя работа в газетах и журналах. Половина его книги «Встречные корабли» (1928 г.) уже была отдана очерку.

За несколько последующих лет Паустовский опубликовал ещё свыше двадцати очерков на самые различные темы. Их содержание позволяет восстановить маршрут поездок Паустовского-журналиста в конце 20-х — начале 30-х годов: Абхазия, Мещора, Калмыкия, Эмба, Березники, Саратов, Москва, Соликамск, Астрахань, Кара-Бугаз.

Очерки Паустовского не изолированы от остального творчества. Они тесно связаны с его рассказами, повестями, романами, как с теми, что писались в эти же годы, так и с теми, что будут написаны позже.

«...я посвящаю этот очерк всем, кто не видит романтики нашей эпохи и оплакивает пафос недавних лет Есть пафос борьбы и пафос упорной и талантливой работы. Есть романтика Перекопа и романтика селекции. И то, и другое равноценно». В очерках Паустовского ощущается дыхание времени. Они вошли в летопись первой пятилетки. Они — исторический документ эпохи. Их чисто литературное значение прежде всего в том, что они были для Паустовского своеобразным инструментом познания жизни, помогали ему вырабатывать свой стиль, обогащали язык. По свидетельству самого писателя, «поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг».

## 2.

20-е годы — время напряжённых поисков писателем своего пути в литературе, время формирования его творческой индивидуальности. Но широкая известность пришла к Паустовскому только в 1932 году, когда была опубликована повесть «Кара-Бугаз» — книга необычная, нетрадиционная, стоявшая у истоков научно-художественной литературы. Тема повести — история открытия, изучения и освоения кара-бугазского залива Каспийского моря. Затем последовали научно-художественные повести «Колхида» (1934 г.), «Чёрное море» (1936), «Мещорская сторона» (1939). Паустовский обнаруживает в них глубокое знание специальных научных дисциплин: метеорологии, ботаники, минералогии, океанографии, зоологии, истории, археологии, психологии творчества и т. д. С другой стороны, в этих повестях писателя в полной мере раскрылся его яркий изобразительный талант.

Нетрудно заметить — об этом свидетельствуют названия произведений, — что главным героем научно-художественных книг Паустовского выступает природа. Однако подход к этой теме у него различный.

В «Кара-Бугазе» и в «Колхиде» перед читателем развёрнуты картины преобразования природы.

В «Чёрном море» природа выступала объектом познания, средством могучего влияния на личность человека.

В «Мещорской стороне» она ещё и предмет любования, источник лирического вдохновения с большой силой эстетического воздействия на читателя. Паустовский особенно дорожил этими лирическими красками родной природы: «Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России. Величину любви к ней трудно измерить».

Природа в произведениях писателя — это не просто описания полей, перелесков, холмов и рек, рассветов и зорь, и не фон, на котором разворачиваются основные события. Чувство природы равнозначно для Паустовского чувству родины: «Природа учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной стране невозможна без любви к её природе».

Для писателя отношение к природе — один из основных критериев оценки человека: «Нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, её прошлому, настоящему и будущему, к её языку, к её лесам и полям, к её селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники».

Паустовский устанавливает прямую связь между красотой земли и одарённостью народа, богатством и силой искусства: «Своими моральными качествами, талантливостью и творческой силой наш народ обязан, среди других причин, и нашей природе. Сила её эстетического воздействия так велика, что, не будь её, у нас не было бы такого блистательного Пушкина, каким он был. И не только Пушкина, но и Лермонтова, Чайковского, Чехова, Горького, Тургенева, Льва Толстого, Пришвина и, наконец, не было бы плеяды художников-пейзажистов: Саврасова, Левитана, Борисова-Мусатова, Нестерова, Куинджи, Крымова и многих других».

Особая тема — деятельность Паустовского по охране природы. Укажем здесь только на одну сторону этой деятельности: писатель настойчиво подчёркивал общенародный характер чисто эстетических, на первый взгляд, проблем: «Прекрасный ландшафт есть дело государственной важности. Он должен охраняться законом. Потому что он плодотворен, облагораживает человека, вызывает у него подъём душевных сил, успокаивает и создаёт жизнеутверждающее состояние, без которого немыслим полноценный человек нашего времени».

В наше время, когда проблемы охраны природы перемещаются в центр внимания всего человечества, мысли и образы Паустовского приобретают особую весомость и ценность. Специалист-биолог считает: «Природу может спасти только любовь к ней. Я думаю, Пришвин и Паустовский сохранили своими рассказами рек и лесов больше, чем иные строгие меры»[1].

В своих научно-художественных книгах писатель соединил, казалось, несоединимое: изображение таких сугубо практических, деловых предприятий, как добыча мирабилита и осушение болот, с возвышенной мечтой о светлом завтра, рассказ о научном поиске с яркими

[1] «Наука и жизнь», 1973, № 6, с. 141.

лирическими пейзажами, производственные конфликты и романтические характеры. Он раскрыл поэзию созидательного творческого труда, поэзию научного поиска, поэзию познания.

3.

Искусству рисовать природу Паустовский учился у живописцев: «Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна ещё и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться, что не замечали этого раньше».

Рисуя пейзаж, писатель не ставил своей целью тщательно выписать все его подробности. Он выбирал что-то одно, какую-то одну деталь, именно ту, которая лучше других способна пробудить эмоциональный отклик в душе читателя, и подавал её крупно, настойчиво, как лейтмотив.

Паустовский стремился к простоте, лаконизму и выразительности. Пейзаж у него всегда глубоко лиричен. Характерная особенность его пейзажной живописи — манера недоговарить, недорисовывать, предоставляя читателю возможность самому воссоздать ту или иную картину. Писатель специально рассчитывал на читательское воображение и при этом старался «загрузить работой» все органы чувств. Вы видите, как «в просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет», слышите, как «стаи птиц со свистом и лёгким шумом разлетаются в стороны», чувствуете «запах можжевельника» и, наконец, всем своим существом ощущаете чудо рождения летнего дня: «В необыкновенной никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталём загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Ещё всё спит ...»

Паустовский мастерски владел словом. Истоки этого мастерства — в прекрасном знании русского языка. Словарь писателя огромен. Паустовский — знаток языка в его самых глубинных народных источниках, причём одним из таких источников он считал родную природу: «Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с прос-

тыми русскими людьми, но также общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины».

Поучительную историю пересказал писатель со слов знакомого лесника: «Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил. Всё его обхаживаю. Надо думать получилось оно оттого, что вода зарождается. Родник родит реку, а река льётся-течёт через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит,— родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой...

Простые эти слова,— утверждал Паустовский,— открыли мне глубочайшие корни нашего языка. Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключалась в этих словах».

Поэтическая свежесть пейзажей Паустовского и объясняется умением писателя улавливать и передавать тончайшие оттенки в значении слов, оттенки, которые часто не замечаются в их повседневном употреблении. Под пером Паустовского оживает всё богатство и великолепие русского языка.

Так завершается круговорот. Человек углубляется в природу, а она вместе с другими своими щедротами одаряет его редким голосом, как бы повелевая рассказать о своей сокровенной прелести людям, не понявшим ещё, что «родная земля — самое великолепное, что нам дано для жизни. Её мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа».

## 4.

Ряд произведений Паустовского был посвящён исторической тематике —«Судьба Шарля Лонсевиля» (1933 г.), «Орест Кипренский» (1937), «Северная повесть» (1938) и другие. Подход писателя к историческому материалу был своеобразен: «Возможно есть писатели, которые ныряют в историю ради самой истории, но прошлое всегда интересовало меня в связи с современностью. И писал ли я о близкой мне по времени действительности или о минувшей эпохе, я ставил перед собой современные цели».

Такой главной целью было воспитание чувства ис-

тории. Объектом художественного исследования в исторических произведениях Паустовского выступают факты, события, лица в том виде, как они воспринимались и оценивались современниками. Изобразить историю через отражение её в человеческом сознании — тонкая и трудная задача. Там, где писателю удалось справиться с ней успешно, его книги осуществляли связь времён. Пережив всё случившееся с их героями, читатель как бы открывал для себя описываемую эпоху с новой стороны, он входил в историю уже не как посторонний наблюдатель. Он испытывал,— как считает Паустовский,—«чувство истории — чувство драгоценное».

Вот почему так часто обращался писатель к жизнеописаниям людей искусства. В своих произведениях они концентрировали это драгоценное и необходимое чувство. Осмысливая его с высоты нового исторического положения, Паустовский передавал эстафету предшественников новым поколениям. В этом он также видел свой писательский долг.

## 5.

Интересна и оригинальна повесть Паустовского «Золотая роза». Это — книга о писательском труде. Она необычна во многих отношениях. Это не хрестоматия и не трактат по литературоведению, где непременно должны быть освещены все необходимые вопросы. Это и не сборник рецептов писательского мастерства. Повесть рассказывает о том, как видит, понимает и оценивает Паустовский какие-то моменты в творческом труде писателя (в том числе и в собственном) и читателя. В отборе и расположении материала выявляется замысел художника, определяется его конкретная цель: «Для чего я писал эту книгу? У меня была одна мысль, которая владела мной: показать всю силу, всё великолепие и могущество литературы, которые мы сами, может быть, не сознаём, и поднять на законную недосягаемую высоту звание писателя».

Завершить «Золотую розу» Паустовскому не удалось. Фрагменты, которыми мы располагаем, позволяют судить о грандиозности замысла писателя, а главное — о насущной необходимости подобной книги для современного читателя. Художественная литература в век

научно-технической революции, её сущность как форма общественного сознания, её место, её функции, природа художественного таланта и процессы творчества — эти и подобные проблемы живо волнуют сегодня и тех, кто читает, и тех, кто изучает литературу. Паустовский одним из первых почувствовал веление времени. «Золотая роза» надолго сохранит своё значение книги-путеводителя по той области творчества, в результате которого рождаются художественные книги.

Показывая, как создаётся прекрасное, повесть учит находить его в произведениях художественной литературы, понимать его, наслаждаться им.

Работе над своей главной книгой — «Повестью о жизни» — Паустовский отдал свыше двадцати лет.

«Повесть о жизни» уникальна по богатству исторического материала, по количеству действующих лиц, по оригинальности использования-трактовки достаточно традиционного в русской литературе мемуарно-автобиографического жанра, по важности и серьёзности поднятых проблем.

Очевиден итоговый характер повести. Большинство событий в произведении художник вспомнил, увидел и оценил как бы с высоты прожитых лет.

«Повесть о жизни» предоставляет возможность познакомиться с картиной жизни Паустовского на протяжении четверти века, первой четверти XX века. В огромном разнообразии лиц, разномасштабных событий, пейзажей, произведений искусства, развёрнутом перед читателем, постоянно присутствует лишь один персонаж — сам автор-повествователь. Он — главный объект художественного самоисследования, и он же играет центральную сюжетно-композиционную роль. Весь этот многокрасочный и многозвучный поток жизни, изображённый Паустовским, подчинён главной цели — показать, как в сложном переплетении личного и общественного, влияния семьи и исторических событий, сочетания неповторимого, индивидуального, особенного и всеобщего, всероссийского, всемирного возникает и развивается личность, закладывается фундамент мировоззрения человека, определяются смысл и цель его жизни.

Право первых трёх книг — «Далёкие годы» (1946 г.), «Беспокойная юность» (1954), «Начало неведомого века» (1956) — называться «Повестью о жизни» не вызывает сомнения. За фигурой мальчика, а затем юноши

Паустовского, встаёт вся та сфера русской жизни, в которой он вырос. Обобщающее типизирующее начало в этих произведениях очевидно. Иное впечатление производят следующие три книги —«Время больших ожиданий» (1958), «Бросок на юг» (1959—1960), «Книга скитаний» (1963). Им больше подошло бы название не «Повесть о жизни», а «Повесть о жизни Паустовского». Однако они не менее интересны, важны, значительны, чем первые три, но у них иная цель, иной пафос.

Путь героя книги к народу и к революции был достаточно сложен и тернист. Но Паустовский прав: «Неизвестно, какой путь лучше — от сомнения к признанию, или путь, лишённый всяческих сомнений.

Во всяком случае, глубокая преданность свободе, справедливости и гуманности, равно как и честность перед самим собой, всегда казались мне непременными качествами человека нашей революционной эпохи».

В советской литературе немало великолепных произведений, глубоко раскрывающих эту одну из самых жгучих русских проблем начала века — трилогия А. Толстого «Хождение по мукам», книги К. Федина, Л. Леонова, М. Булгакова, Б. Лавренёва и другие. Разными путями шли их герои, да и авторы, к выводу, что был сделан и героем «Повести о жизни»: «...нет другого пути, чем тот, который избран моим народом». Знаменательная общность!

Своим, самостоятельным путём пришёл Паустовский к постижению одной из важнейших закономерностей русской жизни. Тот социальный слой, к которому он принадлежал по рождению, был весьма и весьма далёк от какой бы то ни было революционности. Но такова неотразимая логика исторических событий, что всякий человек, воспитанный в идеях гуманизма, неизбежно приходил к признанию, поддержке, к участию в великом деле, начатом В. И. Лениным. Те лаконичные строки, в которых Паустовский вспоминает о вожде русской революции, проникнуты чувством глубокого уважения и признательности: «Я думал о Ленине и огромном народном движении, во главе которого стал этот удивительно простой человек, прошедший только что сквозь бушующую восторженную толпу солдат... Я не мог дать себе отчёт в причине своего волнения. Может быть, это было ощущение небывалого времени и предчувствие хорошего будущего — не знаю. И снова радостная мысль, что Россия — страна необыкновенная

и ни на что не похожая,— пришла ко мне, как приходила уже не раз».

В качестве журналиста Паустовскому посчастливилось присутствовать на чрезвычайном заседании ЦИКа в 1918 году. Сначала в зале кипели страсти, разожжённые меньшевиками: «... непонятной была эта игра в борьбу, эта бесплодная и шумная возня». В память писателя навсегда врезалось: «Вошёл Свердлов, позвонил и глухим голосом сказал, что слово для чрезвычайного сообщения предоставляется Председателю Совета Народных Комиссаров Владимиру Ильичу Ленину.

Зал дрогнул. Все знали, что Ленин был болен и ему нельзя говорить.

Ленин быстро прошёл на трибуну. Он был бледен и худ. На горле у него белела марлевая повязка. Он крепко взялся руками за края трибуны и долгим взглядом обвёл зал. Было слышно его прерывистое дыхание. Тихо и медленно, прижимая изредка руку к больному горлу, Ленин сказал, что Совет Народных Комиссаров категорически отклонил наглый ультиматум Германии и постановил тотчас же привести в боевую готовность вооружённые силы Российской Федерации.

В полном безмолвии поднялись и опустились руки, голосовавшие одобрение правительству».

Читатели благодарны Паустовскому, сохранившему для нас живые черты облика человека, повернувшего судьбы мира.

Одна из основных в «Повести о жизни» — тема искусства. На страницах книги живут скульпторы и живописцы, скрипачи и певцы, актёры и режиссёры и, конечно же, писатели и поэты, встреченные Паустовским на жизненном пути. В «Повести о жизни» есть интересные замечания о специфике поэтического образа, об особенностях творческого мышления, о роли живописи и музыки в работе прозаика и т. п. Но все эти профессиональные суждения — на втором плане. На первом же — настойчиво повторяющаяся мысль: «Искусство всегда берёт человека за сердце и чуть сжимает его. И человек никогда не забудет этого явного прикосновения прекрасного.

Человек не забудет того состояния душевной полноты и крылатости, которое иногда даёт ему одна — только одна! — строчка великолепных стихов или картина,

пережившая несколько столетий для того, чтобы донести до нас свою красоту».

Искусство должно прикоснуться к каждому человеку, каждого позвать к совершенству, позвать к прекрасному — это кардинальная мысль эстетики Паустовского, реализованная всей его жизнью и деятельностью. Многие произведения писателя — «Золотая роза», «Старый повар», «Избушка в лесу», «Беглые встречи» и другие — вдохновлены, как и «Повесть о жизни», тем же желанием сказать людям о важности, значительности, необходимости искусства в их жизни.

Многогранность содержания, наличие важной цели, возможность многоаспектного подхода в совокупности с редкой свежестью восприятия действительности и живостью изображения ставят «Повесть о жизни» в разряд высокохудожественных произведений. В ней нет и следа сентиментальной монотонности, так характерной для большинства воспоминателей.

## 7.

В собрании сочинений Паустовского произведения разных жанров: романы, повести, пьесы, очерки, сказки, статьи. Но центральное место всё же принадлежит рассказу. В этом виде творчества писатель добился особенно больших успехов. Он выступил продолжателем традиций таких выдающихся мастеров русского рассказа, как И. С. Тургенев, А. П. Чехов, И. А. Бунин, Паустовский не раз признавался в любви к этому небольшому по объёму, но нелёгкому жанру. Давно замечено, что его крупные произведения — «Кара-Бугаз», «Золотая роза», «Повесть о жизни» и многие другие — построены по мозаичному принципу. Они состоят из отдельных фрагментов, объединённых одной художественной целью. Именно в рассказе полнее и ярче всего раскрылось неповторимое своеобразие творческой индивидуальности Паустовского.

Обычны герои Паустовского — простые советские люди. Обычна русская природа — мокрый от дождя куст на берегу Оки, лёгкий шум ветра в мелколесье, сильный запах травы, хлеба, земли. Эмоциональность повествования невольно рождает ответный отклик, и лирическая атмосфера рассказов писателя пробуждает в читателе повышенную восприимчивость к прекрасному и в природе, и в людях. В обычных, примелькавшихся

образах и картинах раскрывается что-то новое — красивое, высокое, сильное.

Жанровое понятие — рассказ Паустовского — утвердилось в нашем сознании рядом с такими понятиями, как роман К. Федина, драма Л. Леонова, поэма А. Твардовского.

Характерные, типологические черты этого жанра в «исполнении» Паустовского хорошо прослеживаются на примере «Дождливого рассвета».

Рассказ увлекает. Писатель достигает этого не интригующим сюжетом и не остротой конфликта. В «Дождливом рассвете» разлито настроение ночной таинственности, действие протекает под мерный шум дождя.

Лишь на короткий миг приоткрылись нам судьбы героев. Промелькнула ненастная ночь. Вот и дождливый рассвет. Рассказ окончен. Но долго ещё слышится сонный шум дождя в кустах, стук тяжёлых капель в жестяном жёлобе, звучат отрывистые реплики героев. А из глубины души растёт, поднимается какое-то щемящее чувство. Ведь всё это в каждом сердце — и река, и дождь, и женский образ. Это — Родина!

Сюжет «Дождливого рассвета» прост. Глубокой ночью речной пароход подошёл к Нáволокам. Майор Кузьмин, ехавший после ранения на отдых, должен был найти в этом городке женщину, которой вёз письмо от товарища по госпиталю — Башилова. Сонный извозчик доставил его к маленькому дому на окраине. И здесь майор понял: «Письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже не нужно здесь и не интересно».

На рассвете Ольга Андреевна Башилова проводила Кузьмина к пароходу.

Структура рассказа своеобразна. Через небольшие промежутки следуют трёх-пятистрочные пейзажные миниатюры, каждая из которых — совершенство по удивительной способности Паустовского воспринимать природу чуть ли не всеми органами чувств, по редкой выразительности деталей, по какой-то необыкновенной художественной простоте.

Вот Кузьмин, узнав у помощника капитана о времени отправления парохода, поднимается по скользкой лестнице на крутой берег. Он будит спящего извозчика.

«Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролётки. По

поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью».

Перед Кузьминым встают картины недавнего прошлого. Госпиталь. Высокий насмешливый офицер Башилов. Вспомнился разговор с ним:

— Она мне не жена! Она — всё! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом.

Кузьмин возвращается к действительности: «Пролётка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых вётлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста».

И вновь Кузьмин погружается в размышления. На этот раз о своей судьбе. Паустовский сообщает скупые сведения о герое.

А читатель всё больше проникается очарованием этой дождливой ночи, ожиданием какой-то тайны. «Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла».

И вот Кузьмин уже в полутёмной комнате. Он сидит, почему-то волнуясь, и ждёт, когда встретившая его старуха разбудит Ольгу Андреевну. На столе раскрытая книга стихов Блока, букет полевых цветов. Слышится «всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов». И опять в мысли и переживания героя вторгается природа: «Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблёскивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешёптывался слабый дождь. В жестяном жёлобе торопливо стучали тяжёлые капли».

Эти приглушённые ночные звуки остро воспринимаются Кузьминым, застывшим в состоянии напряжённого ожидания, подчёркивают его романтическую настроенность. Психологически глубоко оправданной кажется реплика писателя о том, что лицо Ольги Андреевны показалось Кузьмину знакомым. Вот как обрисован её портрет: высокие плечи, тяжёлые косы, заколотые узлом на затылке, чистый изгиб шеи. Темнота ли помешала Кузьмину разглядеть в Башиловой особенные, индивидуальные черты? Или не захотел он их в ней разглядывать, желая видеть облик той, чей образ много лет жил в его душе и сегодня — быть может, под влия-

ием романтической дождливой ночи — возник перед ним?

Здесь кульминация рассказа, его центр. В звучной тишине маленькой комнаты, прерываемой изредка короткими фразами героев, прошли минуты, которые останутся памятными на всю жизнь этим двум людям, случайно встретившимся в дождливой ночи.

Когда наступил рассвет, Ольга Андреевна вышла провожать Кузьмина: «Дождь прошёл, но с крыш ещё падали капли, постукивали по дощатому тротуару.

... В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождливые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья».

Смысловая и эмоциональная нагрузка этих пейзажных миниатюр очень велика. Насыщенный ими текст рассказа приобретает лирическую взволнованность Природа в рассказе, как чуткий камертон, отвечает тончайшим переживаниям Кузьмина. Но пейзаж у Паустовского играет не только вспомогательную роль. Своеобразие произведений писателя в том, что природа входит в них в качестве героя, нередко главного. Этот герой учит читателя поэтическому видению мира, воспитывает в нём чувство прекрасного и любви к родине.

Паустовский избегает развёрнутых описаний природы, какие нередки у Тургенева и Л. Толстого. Подобно Чехову и Бунину, он умеет находить и выставлять крупным планом выразительные художественные детали, оставаясь при этом предельно лаконичным. Пейзажные миниатюры Паустовского имеют и свои, так сказать, индивидуальные особенности. Выписанные отдельно, они не производят такого впечатления, как в тексте произведения. В рассказе писатель подготавливает читателя к восприятию пейзажа. Особая романтическая приподнятость, лирическая взволнованность повествования приводят к тому, что все чувства читателя обостряются: он зорче всматривается, напряжённее вслушивается и, кажется, обоняет запахи, которыми пропитаны страницы рассказа.

Читая Паустовского, особенно наглядно убеждаешься, насколько богаты выразительные возможности литературы.

Поэтическая свежесть языка произведений Паустовского объясняется умением писателя улавливать и передавать тончайшие оттенки в значении слова, оттен-

ки, которые часто не замечаются в его повседневном употреблении. Под пером Паустовского оживает всё богатство и великолепие русского языка.

Самый язык произведений Паустовского оказывает благотворное влияние на формирование эстетических вкусов читателя.

Что же за человек — герой «Дождливого рассвета»? С первых строк чувствуется — он глубоко симпатичен автору. Паустовскому всё импонирует в Кузьмине: его застенчивость, неожиданная в сорокалетнем майоре, его мягкость в обращении с окружающими, его профессия топографа, бродяги и романтика.

Кузьмин родился на юге, в морской семье. «От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству». «Топографы по натуре — те же художники»,— говорит Кузьмин. По отношению к нему — это правда. Кузьмин умеет видеть и воспринимать мир по-своему, свежо. Профессия наложила на него свой отпечаток. Немало вёрст исходил он с топографическими партиями по лесам и полям, научился видеть и понимать красоту родной русской природы. Тогда же развилась в нём заложенная с морского детства склонность к мечтательности. Частое одиночество приучило Кузьмина жить замкнутой внутренней жизнью, он теряется и стушёвывается на людях. Большая часть реплик Кузьмина в рассказе следует после слова «подумал». Но Кузьмин вовсе не производит впечатления угрюмого, дичащегося бирюка. Он не отрывает себя от тысяч разных людей, что спят «в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом». Ему хорошо от того, что радостно и интересно жить, что вокруг него родная русская природа, которую он любит до боли в сердце. Всё существо Кузьмина переполнено глубоко искренней, горячей, всепроникающей любовью к родине, любовью, которую как-то неудобно определять иностранным словом патриотизм. Может быть, потому, что проявляется она не в героических поступках и громких словах, а в скромных незаметных движениях человеческого сердца.

Встреча читателей с героем «Дождливого рассвета» мимолётна. Но благородство и нравственная чистота Кузьмина не вызывают сомнения. С особой силой эти качества раскрываются в центральной сцене рассказа, написанной с большим художественным мастер-

**ством и психологической глубиной, сцене встречи и ночного разговора Ольги Андреевны и Кузьмина.**

Может профессия оказалась виноватой в том, что «вот ему сорок лет, но не было у него ещё такой любви, как у Башилова. Всегда он был одинок». Жизнь Кузьмина озарена ожиданием встречи с ней — конечно, удивительной, конечно, прекрасной, конечно, необыкновенной женщиной.

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Во второй книге «Золотой розы» Паустовский сказал, что «Дождливый рассвет» целиком вышел из стихотворения А. Блока «Россия».

И вот Кузьмин, настроенный таинственностью дождливой ночи, необычностью ситуации, ждёт в полутёмной комнате: «Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдёт и куда никогда не вернётся».

Чувствуется, однако, как не хочется Кузьмину верить в это никогда. В нём зарождается неясная мечта о счастье с женщиной, которую он сейчас увидит в первый раз.

Кузьмин благородный порядочный человек. Он даже и не помышляет о том, чтобы использовать семейные неурядицы Башиловых в своих целях. Но внимание его против воли останавливается на фактах, которые питают надеждой его неясную мечту. Вот Ольга Андреевна взяла письмо Башилова и, не читая, положила на рояль. Когда Кузьмин собрался рассказать ей о муже, она прервала его и, вытащив из букета цветок ромашки, начала безжалостно обрывать на нём лепестки. А затем произнесла равнодушную холодную фразу: «Он жив, и я рада».

Так проявляется замечательное мастерство Паустовского-психолога. За немногочисленными деталями, короткими репликами угадывается целая гамма человеческих переживаний.

Беседа не вяжется. Ольга Андреевна замечает, что Башилов мог бы и не беспокоить человека: есть почта, телеграф. У Кузьмина вырываются слова: «Наоборот, это очень хорошо!»

— Что хорошо?— несколько раз переспросила Ольга Андреевна.

И тогда Кузьмин произносит целый монолог, единственный в рассказе, полно раскрывающий его чувства и желания.

«Как бы вам объяснить,— сказал Кузьмин, сердясь на себя.— С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в берёзовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите, куда уносятся все эти рощи, луга, лошадёнки, просёлочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнёт вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.

Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.

— Я в жизни,— сказал Кузьмин и покраснел, как всегда краснел, когда ему случалось говорить о себе,— всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.

— И сейчас тоже?— спросила Ольга Андреевна.

— Да!»

Каким-то особенным, женским чутьём Ольга Андреевна поняла состояние Кузьмина. Может быть, и её потянуло к этому невысокому седоватому человеку, но когда Кузьмин, уже с палубы парохода, поднял руку, прощаясь с нею, Ольга Андреевна не ответила. И этой выразительной деталью Паустовский сказал больше, чем многословными описаниями.

Последние страницы рассказа написаны с особым лиризмом, с особой художественной силой.

Ольга Андреевна провожает Кузьмина к пароходу. Они вышли на улицу. Светает. Как дым, улетает всё ночное таинственное очарование. Тот дождь, что недавно шептал в кустах и задумчиво стучал в жёлобе, теперь воспринимается как ненастье. Сыро и холодно. И через это ненастье Кузьмин идёт, держась за маленькую крепкую руку в сырой перчатке. Никогда, наверное, ещё он не ощущал так реально возможность осуществления своей мечты.

Но «с реки сердито закричал пароход, жалуясь на

промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях и туманах».

Этим изящным поэтическим образом прекрасно обрисовано душевное состояние Кузьмина—его жалоба на промозглый рассвет, разрушивший многообещавшее очарование ночи, его сожаление о своей, опять одинокой жизни.

Финал не оставляет, однако, чувства горечи, подавленности, тоски. (Ещё одна мечта разбита!) Возможно потому, что Кузьмин принадлежит к числу людей, для которых ожидание, возможность счастья не уступают самому счастью.

«Дождливый рассвет»— это рассказ о человеке чутком и деликатном; человеке со своеобразным внутренним миром, своей неповторимой судьбой, человеке, каких немало.

За образами Ольги Андреевны и Кузьмина, за картинами русской природы встаёт главная мысль, которая и воодушевила Паустовского на создание «Дождливого рассвета»,— мысль о Родине. И эта мысль не может не рождать отклика в душе читателя.

Герои Паустовского — люди нашей эпохи. Их любовь к родине, взаимное уважение друг к другу, нравственная чистота и скромность воспитаны социалистическим обществом.

«Дождливый рассвет»— произведение, характерное для Паустовского. Гордость, восхищение красотой родной земли, внимание к людям, влюблённым в эту красоту, тонко чувствующим её прелесть,— существенные черты его творчества.

Рассказы писателя лишены стремительного, увлекательного действия. В них нет необычных приключений, невероятных поворотов сюжета, эффектных, неожиданных концовок. Сила их художественного воздействия в другом. Они требуют медленного сосредоточенного чтения, напряжённой работы воображения, мысли и чувства. Подчинившись лирическому настроению, всегда присутствующему в каждом рассказе Паустовского, читатель неожиданно слышит в своём сердце те самые струны, которые непременно отзываются на призыв прекрасного. И начинается удивительное, что и должно происходить при встрече с подлинным искусством. Скажем лишь об одном: в человеке возрождается «поэтическое восприятие жизни, всего окружаю-

щего нас — величайший дар, доставшийся нам от поры детства».

## 8.

Ещё при жизни Паустовский обрёл то, о чём мечтает каждый писатель. Его произведения завоевали широкое признание и в нашей стране, и за рубежом.

Массовый читательский интерес к книгам Паустовского возник в связи с опубликованием «Кара-Бугаза» в 1932 году. С тех пор он неизменно расширялся, укреплялся и, в конце концов, приобрёл своеобразный характер: «Наличие у писателя нашего времени постоянной читательской аудитории — вещь весьма проблематичная, а для подавляющего большинства литераторов и совсем несбыточная, неосуществимая. Охотно и регулярно читают только самых выдающихся художников слова.

У Паустовского сложилась, особенно в течение последних тридцати лет, именно такая аудитория — огромная, массовая, и она, по-моему, продолжает непрерывно расти, шириться. Читатель истинно интеллигентный, независимо от образовательного ценза, возраста, национальности, от того, работает ли он в поле, стоит у станка, изобретает ли приборы, строит дома, учит или лечит людей. У этого читателя газета, кино, телевидение, весь колоссальный объём хозяйственной, политической, спортивной информации не мог вытеснить глубокой потребности непосредственного общения с умной, доброй книгой. И вот он, этот читатель, разузнав книги Паустовского, читает их затем всю жизнь и платит писателю своей любовью»[1].

Ученица девятого класса ленинградской школы № 239 назвала своё сочинение «Прекрасное рядом»: «У меня есть томик рассказов Паустовского, пять лет назад мне подарил его дедушка и сказал: «Учись, Наталка, понимать прекрасное». С тех пор я читаю эту книгу, я не устаю её перечитывать потому, что после каждого раза открываю в ней что-то новое, очень нужное ...

Теперь я знаю: в каждом человеке скрыто что-то очень большое и нужное. Когда мне трудно, я отправляюсь, как сказал Владимир Солоухин, в «страну Па-

---

[1] Романенко В. Ялтинская осень Паустовского. Ж. «Радуга», 1972, № 6, с. 132.

устовского». Очень понятна мне эта страна, всё в ней знакомо, дорого. Паустовский для меня учитель, добрый волшебник, передающий мне свои чувства, мысли и настроения».

«Азербайджанскому читателю не надо представлять Паустовского: он читал его и по-русски и по-азербайджански. Интересно, что первый перевод (детского рассказа) относится к 1938 году. Позднее были переведены «Золотая роза» и многие рассказы (сб. «Посёлок среди скал»)[1],—утверждает литературовед Р. Бахтамов.

Известный молдавский писатель Ион Друцэ посвящает К. Г. Паустовскому и его читателям восторженную статью — подлинное стихотворение в прозе.

Классик польской литературы Я. Ивашкевич вспоминал: «Как-то Паустовский мне сказал: «Я и раньше знал, что меня у вас переводят, издают, и даже большими тиражами».

Он не ошибся. Недавно я получил письмо от девушки с периферии. Она пишет: «Я решила написать вам в связи с печальным событием — смертью Паустовского. Мне 21 год, и вот впервые умер человек, который был мне очень близок. Паустовский был моим любимейшим писателем; книги его не раз спасали меня от уныния. . .»

Этот случай заставляет задуматься. Почему Паустовский, возможно, не самый крупный из современных советских писателей, почему он нам особенно близок?»[2]

Знают и любят Паустовского в Болгарии, Румынии, Югославии, Дании, читают его книги на немецком, итальянском, французском, словацком, норвежском и других языках. «Таймс литтерери сапплмент» отмечает особую популярность Паустовского среди англичан и американцев.

Чем же завоевал писатель расположение этой многомиллионной разноязычной аудитории?

Творчество Паустовского демократично, и цель его — каждого человека призвать к совершенствованию ума и души, научить его радоваться красоте, понимать её, наслаждаться ею. Читатель не может не ощущать обаяния личности писателя, его бескорыстия и честнос-

---

[1] «Литературный Азербайджан», 1972, № 5, с. 121.
[2] «Подъём», 1969, № 5, с. 147—148.

ти. Любование красотой человека, природы, искусства лишено у него какого бы то ни было эстетства. Оно гуманно по своей сущности.

Писатель владеет искусством ставить так называемые общечеловеческие проблемы на конкретном современном материале, улавливать те особенности, оттенки, интонации, нюансы, которые характеризуют своеобразие нравственных и эстетических категорий добра и зла, долга и верности, прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного на новом историческом этапе развития общества.

Пребывание в «стране Паустовского» оставляет глубокий след в сознании и чувствах читателя. Оно обогащает его память знанием множества необходимых вещей. Оно облагораживает его чувства. Писатель, счастливо нашедший своё призвание, приходит на помощь тем, кто хочет любить жизнь, природу, людей, искусство. Он открывает им глаза на красоту в повседневности и в шедеврах.

Время и его проблемы отразились в произведениях Паустовского через призму его своеобразного таланта и освещены мировоззрением человека принципиального, последовательного и целеустремлённого. Личность художника, человека, «создавшего себя», может быть примером благородства и преданности своему делу.

Творчество Паустовского дорого миллионам и миллионам читателей ещё и потому, что в каждом сердце есть струна, отзывающаяся даже на слабый призыв прекрасного.

*Л. П. Кременцов*



## СНЕГ

Старик Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой нянькой.

Маленький дом — всего в три комнаты — стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела берёзовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье.

Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, к его домишкам, скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь.

«Какая я дура!— думала Татьяна Петровна.— Зачем уехала из Москвы, бросила театр, друзей! Надо было отвезти Варю к няньке в Пушкино — там не было никаких налётов,— а самой остаться в Москве. Боже мой, какая я дура!»

Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах — их было несколько в городке — и успокоилась. Городок начал ей даже нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Дни стояли мягкие, серые. Река долго не замерзала; от её зелёной воды поднимался пар.

Татьяна Петровна привыкла и к городку и к чужому дому. Привыкла к расстроенному роялю, к пожелтевшим фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Старик Потапов был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе с выцветшим зелёным сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Варе не позволяли трогать эту модель. И вообще не позволяли ничего трогать.

Татьяна Петровна знала, что у Потапова остался

сын моряк, что он сейчас в Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна брала её, рассматривала и, нахмурив тонкие брови, задумывалась. Ей всё казалось, что она где-то его встречала, но очень давно, ещё до своего неудачного замужества. Но где? И когда?

Моряк смотрел на неё спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж? Неужели вы так и не припомните, где мы встречались?»

— Нет, не помню,— тихо отвечала Татьяна Петровна.

— Мама, с кем ты разговариваешь?— кричала из соседней комнаты Варя.

— С роялем,— смеялась в ответ Татьяна Петровна.

Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова.

Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапову, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стёкла.

Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня,— он даже не вздрагивал. Потом она осторожно взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать.

«Милый мой старик,— читала Татьяна Петровна,— вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжёлая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся и не кури папиросу за папиросой. Умоляю!»

«Я часто вспоминаю тебя, папа,— читала дальше Татьяна Петровна,— и наш дом, и наш городок. Всё это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет берёзовым дымом. Рояль, наконец, настроен, и ты вставил в подсвечники витые жёлтые свечи — те, что я привёз из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле: увертюра к «Пиковой даме» и романс «Для берегов отчизны дальной». Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить.

Неужели я всё это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил всё это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьёзно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот её маленький и самый милый для меня уголок — и тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и берёзовые рощи за рекой, и даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой.

Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой. Не знаю. Но лучше не жди».

Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет, думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть всё совсем не таким, каким он хотел бы увидеть.

Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные её колонки поседели, заросли лишаями. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. На нём была отлита смешная надпись: «Я вишу у дверей — звони веселей!» Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. Кот Архип недовольно задёргал ушами, обиделся, ушёл из прихожей: весёлый звон колокольчика казался ему, очевидно, нахальным.

Днём Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика настройщика, обрусевшего чеха, занимавшегося починкой примусов, керосинок, кукол, гармоник и настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная: Невидаль. Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала.

Когда он ушёл, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники

на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном.

Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на ёлке.

Варя не выдержала.

— Зачем ты трогаешь чужие вещи?— сказала она Татьяне Петровне.— Мне не позволяешь, а сама трогаешь? И колокольчик, и свечи, и рояль — всё трогаешь. И чужие ноты на рояль положила.

— Потому что я взрослая,— ответила Татьяна Петровна.

Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на неё. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе.

Ещё в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что у отца ему придётся пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, и дорога отнимала всё время.

Поезд пришёл в городок днём. Тут же, на вокзале, от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась с дочерью молодая певица из Москвы.

— Эвакуированная,— сказал начальник станции.

Потапов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры в ватниках, в валенках. Голова у него кружилась.

— Да,— сказал начальник станции,— хорошей души был человек. Так и не довелось ему повидать сына.

— Когда обратный поезд?— спросил Потапов.

— Ночью, в пять часов,— ответил начальник станции, помолчал, потом добавил:— Вы у меня перебудьте. Старуха моя вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти незачем.

— Спасибо,— ответил Потапов и вышел.

Начальник посмотрел ему вслед, покачал головой.

Потапов прошёл через город, к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землёй наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Тем-

нело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слёзы.

« Ну что же!— сказал Потапов.— Опоздал. И теперь это всё для меня будто чужое — и городок этот, и река, и дом».

Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял в инее сад, темнел дом. Из трубы его поднимался дым. Ветер уносил дым в берёзовую рощу.

Потапов медленно пошёл в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может, заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не растравлять себе сердце, уехать и забыть о прошлом!

«Ну что же,— подумал Потапов,— с каждым днём делаешься взрослее, всё строже смотришь вокруг».

Потапов подошёл к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но всё же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошёл в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом мутно розовело небо — должно быть, за облаками подымалась луна. Потапов снял фуражку, провёл рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу, под горой, бренчали пустыми вёдрами женщины — шли к проруби за водой.

Потапов облокотился о перила, тихо сказал:

— Как же это так?

Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову тёплом платке. Она молча смотрела на Потапова тёмными внимательными глазами. На её ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток.

— Наденьте фуражку,— тихо сказала женщина,— вы простудитесь. И пойдёмте в дом. Не надо здесь стоять.

Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина так же тихо сказала:

— Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдёт.

Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевёл дыхание.

Он вошёл в дом, что-то смущённо бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах берёзового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова, но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве.

— Пойдёмте!— сказала Татьяна Петровна и провела Потапова в кухню.

Там в кувшине стояла холодная колодезная вода, висело знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями.

Татьяна Петровна вышла. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. Смущение Потапова ещё не прошло.

— Кто же твоя мама?— спросил он девочку и покраснел.

Вопрос этот он задал, лишь бы что-нибудь спросить.

— Она думает, что она взрослая,— таинственно прошептала девочка.— А она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я.

— Почему?— спросил Потапов.

Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни.

Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живёт в лёгком, но очень прочном сне. Всё в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя — лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма.

После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко. В её свете слабо светились берёзы, бросали на снег лёгкие тени.

А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля и осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала:

— Мне всё кажется, что где-то я уже видела вас.

— Да, пожалуй,— ответил Потапов.

Он посмотрел на неё. Свет свечей падал сбоку,

освещал половину её лица. Потапов встал, прошёл по комнате из угла в угол, остановился.

— Нет, не могу припомнить,— сказал он глухим голосом.

Татьяна Петровна обернулась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила.

Потапову постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять её.

Он лежал, прислушивался к воровским шагам Архипа, к дребезжанию часов, к шёпоту Татьяны Петровны,— она о чём-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом голоса затихли, нянька ушла, но полоска света под дверью не погасла. Потапов слышал, как шелестят страницы,— Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потапов догадывался: она не ложится, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит, но он не решился окликнуть Татьяну Петровну.

В четыре часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потапова. Он зашевелился.

— Пора, вам надо вставать,— сказала она.— Очень жалко мне вас будить!

Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После второго звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потапову обе руки, сказала:

— Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?

Потапов ничего не ответил, только кивнул головой. Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги.

«Я вспомнил, конечно, где мы встречались,— писал Потапов,— но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке. Меркнущее небо, бледное море. Я шёл по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет шестнадцать. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на неё. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы и разрушить

всю мою жизнь и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но всё же не двинулся с места. Почему — не знаю. С тех пор я полюбил Крым и эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. И если всё окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашёл на столе у отца своё распечатанное письмо. Я понял всё и могу только благодарить вас издали».

Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала:

— Боже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его? И себя!

Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат.

*1943*

## ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ

В Наволоки пароход пришёл ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто,— горел только один фонарь.

«Где же город?— подумал Кузьмин.— Тьма, дождь — чёрт знает что!»

Он поёжился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.

— Часа три,— ответил помощник.— Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.

— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.

— Да, задача!— вздохнул помощник.— Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.

Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчичью

пролётку. Верх пролётки был поднят. Из-под него слышался храп.

— Эй, приятель,— громко сказал Кузьмин,— царство божие проспишь!

Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:

— Поедем, что ли?

— Поедем, — согласился Кузьмин.

— А куда везти?

Кузьмин назвал улицу.

— Далеко,— забеспокоился извозчик.— На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.

Он задёргал вожжами, зачмокал. Пролётка тронулась.

— Ты что же, единственный в Наволоках извозчик?— спросил Кузьмин.

— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?

— К Башиловой.

— Знаю,— извозчик живо обернулся.— К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний ...

Пролётка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.

— Ты на дорогу смотри,— посоветовал Кузьмин.— Не оглядывайся.

— Дорога действительно ... — пробормотал извозчик.— Тут днём ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролётки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше»,— подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.

«Остаться бы здесь на весь отпуск,— подумал Кузьмин.— От одного воздуха всё пройдёт, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».

— А вы не муж ихний?— спросил извозчик.

Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный

не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж,— сообразил извозчик.— А люди болтают, что она мужа бросила ещё до войны. Врут, надо полагать».

— Но, сатана!— крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь.— Нанялась тесто месить!

«Глупо, что пароход опоздал и пришёл ночью,— подумал Кузьмин.— Почему Башилов — его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придётся будить людей, бог знает что ещё могут подумать!»

Башилов был высокий насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссёра в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. Но высмеивал хитро — намёками, шутками,— и высмеянный обыкновенно только через часдва спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.

За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь,— подумал Кузьмин.— Вот, кажется, плачет. Значит любит. И любит сильно».

Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоём бутылку припрятанного Башиловым вина.

— Что вы на меня так смотрите?— спросил Кузьмин.

— Хороший вы человек,— ответил Башилов.— Вы могли бы быть художником, дорогой майор.

— Я топограф,— ответил Кузьмин.— А топографы по натуре — те же художники.

— Почему?

— Бродяги,—неопределённо ответил Кузьмин.

— «Изгнанники, бродяги и поэты, — насмешливо продекламировал Башилов,— кто жаждал быть, но стать ничем не смог».

— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и всё.

— Чему завидуете?

Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетёного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нёс пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.

— Чему завидую?— переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина.— Всему. Даже вашей руке.

— Ничего не понимаю,— сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать вино.

— Ну и не понимайте!— ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза:— Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, всё это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмёт вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?

— Ну что вы!— сказал, растерявшись, Кузьмин.— Вы тоже увидите вашу жену.

— Она мне не жена!— резко ответил Башилов.— Хорошо ещё, что вы не сказали «супруга».

— Ну, извините,— пробормотал Кузьмин.

— Она мне не жена!— так же резко повторил Башилов.— Она — всё! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!

Он встал и протянул Кузьмину руку:

— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.

Пролётка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых вётлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.

«Далеко всё-таки!»— вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:

— Ты меня подожди около дома. Отвезёшь обратно на пристань...

— Это можно,— тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».

Началась булыжная мостовая. Пролётка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колёса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.

Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?»— с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел. О том, что вот ему сорок лет, но не было у него ещё такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.

«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несёт туманом,— так и жизнь пройдёт»,— почему-то подумал Кузьмин.

Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал всё же случайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Лёгкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто бы не дал ему больше тридцати лет.

Пролётка въехала, наконец, в тёмный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шёл, немного отстав, за пролёткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я?— подумал он.— Какие-то Наволоки, глушь,

лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невесёлое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».

Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.

Пролётка остановилась около дома с мезонином.

— Приехали!— сказал извозчик.— Звонок у калитки, с правого боку.

Кузьмин ощупью нашёл деревянную ручку звонка и потянул её, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.

— Шибче тяните!— посоветовал извозчик.

Кузьмин снова дёрнул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо,— никто, очевидно, не проснулся.

— Ох-хо-хо!— зевнул извозчик.—Ночь дождливая,— самый крепкий сон.

Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошёл к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:

— Кто такие? Чего надо?

Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил.

— Отворяй, Марфа,— сказал он.— К Ольге Андреевне приехали. С фронта.

— Кто с фронта?— так же неласково спросил за дверью голос.— Мы никого не ждём.

— Не ждёте, а дождались!

Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.

— Батюшки!— испуганно сказала женщина за дверью.— Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я её разбужу.

Дверь отворилась, и Кузьмин вошёл в тёмную галерейку.

— Тут ступеньки,— предупредила женщина уже другим, ласковым голосом.— Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу,— у нас по ночам огня нету.

Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из ком-

нат тянуло запахом чая и ещё каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потёрся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушёл обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.

За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.

— Пожалуйте,— сказала женщина.

Кузьмин вошёл. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с тёмным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.

— Да вы не беспокойтесь, всё равно Ольгу Андреевну будить придётся,— улыбнулась старуха.

— Гудки с пристани здесь слышно?— вполголоса спросил Кузьмин.

— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.

Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чём написана книга, что в ней?

На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шёпоту за дверью и шелесту платья, прочёл про себя давно забытые слова:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая тёплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с её белым матовым абажуром, с оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так всё старомодно, давно позабыто.

Всё вокруг, даже пепельница из розовой раковины,

говорило о мирной и долгой жизни, и Кузьмин снова подумал о том, как хорошо было бы остаться здесь и жить так, как жили обитатели старого дома — неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, вёсен, дождливых и солнечных дней.

Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.

И рядом — раскрытая книга Блока «Дорога дальняя легка». И чёрная маленькая женская шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.

Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблёскивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешёптывался слабый дождь. В жестяном жёлобе торопливо стучали тяжёлые капли.

Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдёт и куда никогда не вернётся.

«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.

На пороге комнаты стояла молодая женщина в чёрном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущённо улыбаясь, подняла её и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.

— Извините,— сказала женщина и протянула Кузьмину руку.— Я вас заставила ждать.

— Вы Ольга Андреевна Башилова?

— Да.

Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили её молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.

Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она

взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.

— Что же мы стоим!— сказала она.— Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.

Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.

— Курите, конечно,— сказала женщина.— Я тоже, пожалуй, закурю.

Кузьмин предложил ей папиросу, зажёг спичку. сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.

Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где всё так же однотонно шумел дождь.

— Марфуша,— сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери.— Поставь, милая, самовар.

— Нет, что вы!—испугался Кузьмин.— Я тороплюсь. Извозчик ждёт на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что ... о вашем муже.

— Что рассказывать!— ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветок ромашки и начала безжалостно обрывать на нём лепестки.— Он жив — и я рада.

Кузьмин молчал.

— Не торопитесь,— просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна.— Гудки мы услышим. Пароход отойдёт, конечно, не раньше рассвета.

— Почему?

— А у нас, батюшка, пониже Наволок,— сказала из соседней комнаты Марфа,— перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.

— Это правда,— подтвердила Ольга Андреевна.— Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привёз? Василий?

— Вот этого я не знаю,— улыбнулся Кузьмин.

— Тимофей их привёз,— сообщила из-за двери Марфа. Было слышно, как она гремит самоварной трубой.— Хоть чайку попейте. А то что же — из дождя да под дождь.

Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.

Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли синие старые чашки с золотыми ободками, кувшин с топлёным молоком, мёд, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.

Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках, в городской библиотеке. Кузьмин всё ждал, что она, наконец, спросит о Башилове, но она не спрашивала. Кузьмин испытывал от этого всё большее смущение. Он догадывался ещё в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтёт письмо позже»,— подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже ненужно здесь и неинтересно. В конце концов Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:

— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф,— я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.

— Какое же затруднение!— поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав:— Наоборот, это очень хорошо.

— Что хорошо?

Кузьмин покраснел.

— Что хорошо?— громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чём он думает,— строго, подавшись вперёд, ожидая ответа. Но Кузьмин молчал.

— Но всё же, что хорошо?— опять спросила она.

— Как вам сказать,— ответил, раздумывая, Кузьмин.— Это особый разговор. Всё, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Всё хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?

— Не очень,— ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.

— Как бы вам объяснить,— сказал Кузьмин, сердясь на себя.— С вами тоже так, наверное, бывало. Из

окна вагона вы вдруг увидите поляну в берёзовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошадёнки, просёлочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнёт вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.

Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.

— Я в жизни,— сказал Кузьмин и покраснел, как всегда краснел, когда ему случалось говорить о себе,— всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.

— И сейчас тоже?—спросила Ольга Андреевна.

— Да!

Ольга Андреевна опустила глаза.

— Почему?— спросила она.

— Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, своё будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.

— Какой?— спросила Ольга Андреевна.

Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.

— Сел на пароход,— продолжал Кузьмин.— Деревни на берегах, пристани. И очертевшее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся их проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал: как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда на извозчике и всё гадал, кого я встречу.

— Чем же вы всё-таки счастливы?— спросила Ольга Андреевна.

— Так ...— спохватился Кузьмин.— Вообще хорошо.

Он замолчал.

— Что же вы? Говорите!

— О чём? Я и так разболтался, наговорил лишнего.

— Обо всём,— ответила Ольга Андреевна. Она как будто не расслышала его последних слов.— О чём хотите,— добавила она.— Хотя всё это немного странно.

Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.

— Что странно?— спросил Кузьмин.

— Всё дождь!— сказала Ольга Андреевна и обернулась.— Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор,— разве это не странно?

Кузьмин смущённо молчал.

В сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.

— Ну, что ж,— как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна.— Вот и гудок!

Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.

— Погодите,— сказала она спокойно.— Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.

Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на её высокие плечи, на тяжёлые косы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живёт эта милая и очень грустная сейчас женщина.

Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.

Они вышли, молча пошли по тёмной улице.

— Скоро рассвет,— сказала Ольга Андреевна.

Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.

— Вам холодно? — встревожился он. — Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашёл дорогу.

— Нет, не зря,— коротко ответила Ольга Андреевна.

Дождь прошёл, но с крыш ещё падали капли, постукивали по дощатому тротуару.

В конце улицы тянулся городской сад. Калитка бы-

ла открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, чёрный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошёл по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.

В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождливые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.

— Как же мы спустимся? — спросил Кузьмин.

— Идите сюда!

Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.

— Дайте руку! — сказала Ольга Андреевна. — Здесь много гнилых ступенек.

Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.

На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зелёные и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет — ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице, и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.

— Попрощаемся здесь, — сказала Ольга Андреевна. — Дальше я не пойду.

Кузьмин взглянул на неё. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, всё уйдёт в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в её и в его жизни?

Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал её и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в тёмной комнате под шорох дождя.

Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала ему, но так тихо, что Кузьмин не расслышал.

Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно...» Может быть, она сказала ещё что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.

Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошёл через пахнущую рогожками и дёгтем пристань, вошёл на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колёсами. Кузьмин прошёл на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была ещё там. Чуть светало, и её трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.

Пароход уходил всё дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колёс.

*1945*

## ТЕЛЕГРАММА

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и всё доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие вётлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало ещё труднее вставать по утрам и видеть всё то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась тёмная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет отца, а вот эта — маленькая, в золо-

той раме — подарок Крамского, эскиз к его «Незнакомке в бархатной шубке».

Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном её отцом — известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в своё родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрёт она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала.

А в селе — называлось оно Заборье — никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника,— девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную чёрную шляпу.

— На что это мне?— хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом.— Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая,— шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко.— Ты продай.

— Сдам в утиль,— решала Манюшка, забирала всё и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он ещё помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберёг на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

— Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но всё же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая,— и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну, что ж,— говорил он, не дождавшись ответа,— Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша,— шептала Катерина Петровна.— Иди, бог с тобой.

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме,— без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжёлые, как бессонница. Рассвет всё больше медлил, всё запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам ещё с прошлого года лежали поверх ваты когда-то жёлтые, осенние, а теперь истлевшие и чёрные листья.

Настя, её дочь и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до неё, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, своё счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так не слышно, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца весёлый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, и Катерина Петровна сидела растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были всё одни и те же: столько дел, что нет вре-

мени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову тёплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звёзды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

— Кто стучит?— Но за забором никто не ответил.— Должно быть, почудилось,— сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохлась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клён. Его она посадила давно, ещё девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи. Катерина Петровна пожалела клён, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя,— писала Катерина Петровна.— Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать,— смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не тот,— да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь,— что там? Но внутри ничего не было видно, одна жестяная пустота.

Настя работала секретарём в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — всё это проходило через её руки.

Письмо Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая,— решила прочесть после работы. Письма от Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живёт, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась,— сейчас она нравилась самой себе. Художники звали её Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл ей сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь,— буркнул Тимофеев.— В шубе, и то замёрзнете. Прошу!

Он провёл Настю по тёмному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в её тёмной воде. Ветер посвистывал в рамах и шевелил на полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод!— сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской ещё холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйтесь!— сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло.— Непонятно, как я ещё не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина?— осторожно спросила Настя.

— Выскочка!— сердито сказал Тимофеев.— Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитёр, милая моя, хитёр, как кардинал!

— Покажите мне вашего Гоголя,— попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите!— угрюмо приказал скульптор.— Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел её со всех сторон, присел на корточки около керосинки, начал греть руки и сказал:

— Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная её насквозь, смотрел на неё остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьётся тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное,— казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!»

— Ну что?— спросил Тимофеев.— Серьёзный дядя, да?

— Замечательно!— с трудом ответила Настя.— Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно,— повторил он.— Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всех комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределённо хмыкнет — и готово. А Першин хмыкнул —значит конец!.. Ночи не спишь!— крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами.— Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это всё — о Гоголе!— сказал он и вдруг успокоился.— Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

— Ну что же, будем драться вместе,— сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твёрдым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась и доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золочёным потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там сейчас ехать!— сказала она и встала.— Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя,— со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку.— Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы не стоят медного гроша, что они наиграны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

— Мёртвый свет!— ворчал он.— Убийственная скука! Керосин и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип?— вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи!— страдальчески закричал Тимофеев.— Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу! Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непо-

священный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева, или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошёл к Насте и похлопал её по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдёт до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Ещё раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но всё же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить, или пока ещё рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала телеграмму.

Настя вернулась на своё место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя?— растерянно подумала Настя.— Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда она только заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

— В наши дни,— говорил он, покачиваясь и придерживая очки,— забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить и в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду будет сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семёновне.

Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слёз.

Кто-то тронул её сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

— Что?— спросил он шёпотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму.— Ничего неприятного?

— Нет,— ответила Настя.— Это так... От одной знакомой...

— Ага!— пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжёлый и пронзительный, Настя всё время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть?— подумала она.— Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на неё, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо всё ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя,— вспомнила Настя недавнее письмо.— Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто её так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

— Поздно! Маму я уже не увижу,— сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово —«мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж это, мама? Что?— думала она, ничего не видя.— Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у неё дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

— Что с вами, гражданка?— недовольно спросила она.

— Ничего,— ответила Настя.— У меня мама...

Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

— Куда вы?— крикнула кассирша.— Сразу надо было сказать. Подождите минуту.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

... Тихон пришёл на почту, пошептался с почтарём Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплёлся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:

— Бабка? А бабка? Ты живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда весёлый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала,— от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, ещё при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по жёлтому

виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришёл Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

— Что, Тиша?— бессильно спросила Катерина Петровна.

— Похолодало, Катерина Петровна!— бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку.— Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьёт — значит, и ей будет способнее ехать.

— Кому?— Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

— Да кому же другому, как не Настасье Семёновне,— ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму.— Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

— Вот!— сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул её Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна не взяла её, а всё так же умоляюще смотрела на Тихона.

— Прочти,— сказала Манюшка хрипло.— Бабка уже читать не умеет. У неё слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочёл: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

— Не надо, Тиша!— тихо сказала Катерина Петровна.— Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплёвывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила его в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошёл на цыпочках и всей пятернёй отёр лицо,— Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

— Не дождалась,— пробормотал Тихон.— Эх, горе её горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура,— сказал он сердито Манюшке,— за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушёл, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмёрзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и весёлым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины — старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и смотрела не мигая перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нём росли высокие, жёлтые от лишаёв вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого ещё в Заборье не знала.

— Учителька идёт, учителька!— зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем ещё девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать — вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на неё, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами — уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница, наконец, решилась и спросила одну из старух, бабку Матрёну:

— Одинокая, должно быть, была это старушка?

— И-и, мила-ая,— тотчас запела Матрёна,— почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Всё, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем слова сказать. Такая жалость! Есть у неё в Ленинграде дочка, да, видно, высоко зале-

тела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались тёмными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в иссохшую жёлтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой в лёгком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за её спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи — предсказывали ясные дни, лёгкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нём смёрзлась комками — и холодную, тёмную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжёлый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы её никто не увидел и ни о чём не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с неё непоправимой вины, невыносимой тяжести.

*1946*

## СТАРИК В ПОТЕРТОЙ ШИНЕЛИ

Есть тысячи деревень у нас в России, затерянных среди полей и перелесков. Тысячи деревень, таких же незаметных, как серое небо, как белоголовые крестьянские дети. Эти дети, встретившись с незнакомым человеком, всегда стоят потупившись, но если уж подымут глаза, то в них блеснёт такая доверчивость, что от неё защемит на сердце.

Редко-редко среди бесчисленных Сосновок, Никольских и Горелых Двориков попадётся деревня с заметным, а иной раз и необыкновенным именем, вроде Мыса Доброй Надежды в Тамбовской области или Колыбельки где-то под Острогожском.

Всегда кажется, что деревни с такими удивитель-

ными названиями непременно связаны с интересными историями и что от этого и произошли их имена.

Я тоже так думал, пока мало знал деревенскую Россию. Но потом, с годами, когда мне пришлось лучше узнать страну, я убедился, что почти нет такой деревни — даже самой захудалой,— где бы не было своих замечательных историй и людей.

Возьмём, к примеру, окрестности городка Ефремова в нынешней Тульской области — того самого Ефремова, что, по словам Чехова, был самым захолустным из всех уездных городов в России. Какие же глухие деревни должны были окружать этот городок!

На первый взгляд это было действительно так. Но только на первый взгляд.

В 1924 году я прожил всё лето под Ефремовом, в деревушке Богово. Шёл седьмой год революции, но внешних перемен пока что было ещё не так много.

Всё те же лысоватые овсяные поля сухо шелестели за околицами, и по ним гулял волнами ветер. Всё те же грудные дети в линялых грязных чепчиках лежали в зыбках, облепленные мухами. В базарные дни гремели по большаку телеги, и бабы в онучах тряслись на них и пели визгливыми и притворно весёлыми голосами разухабистые песни. И сонно шумела у сгнившей плотины небольшая река Красивая Меча (местные жители называли её Красивая Мечь).

Пожив в Богове, я узнал, что невдалеке от Ефремова сохранилась усадьба отца Лермонтова, где в рассохшемся доме висит на стене пыльный походный сюртук поэта. Говорили, что Лермонтов останавливался у отца, когда проезжал на Кавказ, в ссылку. Узнал, что на берегах Красивой Мечи охотился Иван Сергеевич Тургенев, а в Ефремове бывали Чехов и Бунин.

Но всё это относилось к прошлому. Я же хотел найти черты настоящего, найти людей, связанных с новым временем.

Но как нарочно в Богове даже не было ни одного участника гражданской войны — никого, кто был бы свидетелем недавних событий. И тоже, как будто нарочно, в деревне жил какой-то отставной полковник, судя по рассказам, человек одинокий и молчаливый. Почему он поселился в Богове, никто мне не мог объяснить.

— Живёт и живёт,— говорили крестьяне.— Зла пока что не делает. Снял избу, сам себе варит картоху да

от зари до зари сидит с удочкой на речке. Что с него взять — человек престарелый.

— Чего же он здесь живёт?

— А шут его знает! Спрашивать его про это вроде как неудобно. Приехал в летошнем году и остался на жительство. Сторона у нас тихая. Ему, бывшему офицеру, тут, конечно, беспокойства поменьше. Сами знаете, офицер теперь вроде как ящурный. Каждый норовит его стороной обойти.

Встретился я с этим отставным полковником на Красивой Мече около мельничной плотины.

Был хмурый холодноватый день, какие иногда выдаются среди лета. Рыхлые облака ползли над землёй, и из них нехотя падали капли дождя. Потом дождь стих.

Я пришёл на мельничный омут ловить рыбу. На бревне около плотины сидел худой старик с длинной седой бородой, в старой офицерской шинели и серой кепке. Вместо золочёных форменных пуговиц к шинели были пришиты обыкновенные чёрные пуговицы, как на бабьих салопах.

Старик курил короткую трубку, сделанную из колена газовой трубы. Она была, должно быть, очень тяжёлая. Когда старик выбивал её о бревно, то звук был такой, будто он вколачивает гвозди.

Ловил старик на одну удочку и первое время не обращал на меня внимания.

Я же ловил на три удочки, и потому у меня рыба всё время срывалась. Пока я менял червя на одной удочке, на другой, как назло, обязательно клевало. Я хватался за неё, но было уже поздно, и я вытаскивал из воды только обрывок червя. Старик же время от времени неторопливо вываживал больших, свинцового цвета подустов и толстых плотиц.

Он неодобрительно покашливал, поглядывая на мою возню с удочками. Она его, видимо, раздражала. Наконец он не выдержал и сказал:

— Ловить следует, молодой человек, на одну удочку. Для душевного равновесия. А так вы только нервы себе испортите.

Я послушался его, смотал две удочки и начал ловить на одну. Тотчас же я вытащил крупного окуня. Старик усмехнулся.

— Видите! — сказал он. — По трём мишеням сразу

из трёх винтовок не стреляют, а преимущественно мажут. Вот вы и мажете так безбожно, что обидно смотреть.

С реки мы возвращались в Богово в поздние сумерки. Старик шёл медленно, смотрел себе под ноги и ни разу не поднял головы. Поэтому до деревушки мы добрались уже в сырой и неуютной темноте.

Всю дорогу старик рассказывал мне, как варить горох для насадки на подуста, и у меня не было удобного случая, чтобы спросить его, кто же он такой и почему поселился в Богове. Здесь, как я знал, у него не было ни одной близкой души.

Багровые тучи на западе медленно гасли. Заунывно кричала выпь. Снова холодные дождевые капли начали тяжело щёлкать по лопухам. И эта угрюмость вечера каким-то образом передалась моим мыслям об одинокой старости, о человеке в потёртой шинели, что брёл рядом со мной.

Только один раз за время нашего разговора старик упомянул о себе и сказал, что до первой мировой войны он был комендантом крепости Осовец в Польше. Вот там-то на реке Бобре он ловил и не таких подустов!

Шло лето. Старик упорно молчал о своём прошлом, и спрашивать его об этом было действительно неудобно. Один раз я попытался обиняками узнать у него, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, но старик только усмехнулся на мои слова и ничего не ответил.

Вся история с этим стариком становилась что ни день, то загадочнее. Особенно когда я узнал, что каждый месяц он получает какую-то повестку из Ефремова, ходит в город и возвращается оттуда усталый, но довольный. И каждый раз приносит подарки деревенским детям и своей соседке Насте — многодетной, но не старой ещё женщине, брошенной мужем. Детям — липкие леденцы, а Насте то пачку чая, то катушку ниток.

Я никогда не встречал существа более кроткого, чем Настя. Каждое её слово и движение выдавали беспомощность и доброту. Она всегда виновато улыбалась, торопливо поправляла под платком волосы, и руки у неё дрожали. Смотрела она растерянно, а в избу к ней я просто стеснялся войти — Настя тотчас бросалась

вытирать подолом лавку и стол, выгоняла в сени наседку с цыплятами, краснела до слёз и всё порывалась поставить погнутый позеленевший самовар.

Наконец пришла осень, и я собрался через несколько дней уезжать в Москву.

Иные места покидаешь и всё же думаешь, что когда-нибудь сюда вернёшься. Это легче, чем оставлять места, хорошо зная, что ты уезжаешь навсегда. При этом непременно возникает горькое чувство, будто ты оставляешь здесь частицу сердца.

Как бы ни было уныло и неприветливо покинутое место, как бы ты ни тяготился пребыванием в нём, всегда остаётся в душе сожаление, а может быть, и любовь.

Так, должно быть, мать любит своего хилого ребёнка, играющего гнилой щепкой. Любит его до слёз, до стона — беспомощного, обречённого на одиночество среди здоровых и смешливых детей.

О ребёнке я подумал, очевидно, потому, что такой вот больной и тихий мальчик был у Насти. Звали его Петя.

Ему уже минуло шесть лет, но он почти не умел говорить. Весь день он сидел на дороге, пересыпал пыль из ладони в ладонь и молчал.

Однажды я подошёл к нему, присел на корточки и заговорил с ним. Он со страхом взглянул на меня, сморщился и беззвучно затрясся — заплакал, уткнувшись лицом в рукав.

— Ты чего?— спросил я растерянно и дотронулся до его острого плеча, вздрагивающего под застиранной рубашонкой.

Я ничего не понимал. Я видел только огромное, бессловесное и тёмное горе этого маленького, захлёбывающегося от слёз существа.

— Ты чего?— повторил я, и внезапно меня, как лезвие ножа, полоснула мысль: «А может быть, он понимает, что с ним?»

Из избы выбежала Настя, схватила мальчика на руки и, как всегда виновато улыбаясь, сказала:

— Он у меня больненький, дурачок, глупенький мой. Вы не гневайтесь. Как его приласкаешь, он завсегда заплачет.

Неожиданно глаза у Насти потемнели, и она сказала злым голосом:

— Я бы их всех своими руками удавила, мужиков этих окаянных, иродов! Только и жизни, что жрать водку цельными вёдрами да материться. Наплодят таких вот детей, а у тебя потом сердце изойдёт кровью. Мой он мальчик, живой! И некому за него заступиться.

Как только я решил уезжать, мне тотчас захотелось остаться. Всё вдруг открылось в новом обличии — и люди, и пажити, и вся эта тёмная осенняя земля.

Шли дожди, густые пасмурные дни были похожи на рассветы, в избе стало сыро и холодно. И только вороха палых листьев освещали землю своим жёлтым холодноватым огнём.

Перед отъездом я в последний раз пошёл со стариком — звали его Петром Степановичем — на рыбную ловлю. Дожди к тому времени прошли, но над землёй по целым дням лежал туман. Он не рассеивался даже к полудню.

Я спросил старика, не нужно ли ему чего-нибудь в Москве.

— Нет, благодарствую,— ответил он.— Я-то Москву больше и не увижу. Здесь дотяну свои дни. Некуда мне ехать, да и незачем. Я старый байбак — у меня ни жены, ни детей. А об друзьях и говорить нечего. Иные умерли, а остальные давно разбрелись-рассыпались кто куда. Да, признаться, в старой армии у меня и друзей-то не было. Раз-два — и обчёлся.

— Почему?— спросил я.

— Я — солдатский сын. Отец мой был вахмистром. Родом я, как говорили в старое время, из мужичья, из простонародья. Чёрная кость. Ежели бы не это, то разве меня уволили бы в отставку из старой армии в чине полковника. Коменданту такой крепости, как Осовец, полагалось быть генералом. А меня, сказать по правде, только терпели за добросовестность да за познания в артиллерийском деле. Артиллерист я неплохой.

— Что же вы не женились?

— Теперь-то оно, конечно, обидно,— ответил старик и остановился передохнуть. Худой, высокий, чуть сгорбленный, он чем-то напоминал мне горестный образ Дон-Кихота. Глаза у старика слезились. Он вытащил красный клетчатый платок и вытер слёзы.

— Теперь-то я жалею об этом,— сказал он, отдышавшись.— И не столько тому, что жены не было — бог с ней, с женой, насмотрелся я на этих офицерских жён — сколько тому, что не было у меня ни дочери, ни сына. А раз заботиться не о ком, то и существование, выходит, пустое. Холодное существование. Вот и вожишься тут с чужими детьми, с этакими пузырями.

Я, наконец, решился спросить:

— Как вы попали в Богово?

— Это, милый мой, длиннейшая история с географией. Расскажешь — всё равно не поверите. Некий просто фантастический случай на старости лет. Собственно говоря, попал я сюда просто. Слышал про Красивую Мечу, про прелесть этих мест и решил здесь доживать свой век. Но решению этому предшествовало некое удивительное событие. Я ему и сам до сих пор удивляюсь.

— Какое событие?

— Нервные вы люди!— сказал укоризненно старик. — Я люблю обстоятельный разговор. А у вас всё тырпыр — и нет ничего! Нету никакого душевного равновесия.

— Хорошо, Пётр Степанович,— сказал я виновато.— Я не буду больше перебивать.

— Вот и прелестно! Произошла революция, а я в то время жил уже в отставке в Калязине. Ну, понятно, лишился пенсии, погоны спорол, пуговицы с гербами спорол, а пальтишка гражданского не достал. Не осилил. И понимаю, что надо мне из Калязина подаваться в те места, где меня никто не знает. А в Калязине я, как на юру. Понимаю, что надо мне затеряться среди людей. А уж где может быть многолюднее, чем в Москве. Пробрался в Москву, снял угол у старухи вдовы в Петровском парке. Денег у меня осталось от пенсии — всего ничего. Но тянусь, выкраиваю кое-как на пропитание. Старуха, хозяйка моя, женщина была рыхлая и довольно добрая, должно быть от болезни,— порок сердца был у неё. И дочка с ней жила, комсомолка. Та меня как будто не замечала. Уж не пойму — действительно не замечала или делала вид. Да я, правду сказать, всегда был покладистый, а особенно — в то время, ежели принять во внимание тогдашнее моё пиковое положение. Лозунг был у таких, как я, один-единственный: сиди тихо и носа без осо-

бей надобности из норы не высовывай. Натёрла царская армия шею народу своим хомутом. Это я всегда понимал. А в жизни за всё приходится расплачиваться.

Да, жил я скудно, скудней не придумаешь, покуда, наконец, не иссякли мои последние рубли. Умирать никому неохота, да и перед хозяйкой совестно. Не спал я две ночи, да и додумался только до того, чтобы идти милостыню просить, побираться, стать окончательным нищим.

Старик остановился и посмотрел на меня как будто с недоумением.

— Представьте себе,— стать форменным нищим! Это не жизнь, а могильное тление. Сам себе не рад и на себя смотришь с брезгливостью. И всё думалось мне тогда — скорей бы бог смерть послал какую угодно, хоть самую подлую, чем жить в таком унижении. Иные привыкают, а я не мог. Для нищенства тоже нужны сноровка, опыт, актёрство. Ничего этого я не имел.

Я нищенствовал в Петровском парке, дальше не выходил, побаивался. Просил поближе к дому. Стою на углу, глаз не подымаю, совестно прохожим в лицо глядеть. Стою, опираюсь на палку, бормочу что-то такое, что мерзко даже вспоминать сейчас. «Подайте бездомному старику на кусок хлеба». Подавали, прямо скажу, плохо. Шинель моя офицерская всех отпугивала. А бывало и обижали так, что голова холодела от гнева. Но что поделаешь — сдерживался.

Вечером приду в свой угол, считаю мелочь, медяки — и ничего не вижу. Всё туманом застилает. Поверите ли, неоднократно думал о том, чтобы наложить на себя руки. И если бы не один случай, так наложил бы. Не очень бы это дело затягивал.

Мы подошли со стариком к мельничному омуту и сели на сырое бревно — обычное место Петра Степановича.

— Что-то холодно,— пожаловался он и поднял ворот шинели. С изнанки ворот был синевато-серого свежего цвета, а с лица — выгоревший и пожелтевший.

Действительно похолодало, хотя и не было ветра. На облаках появился, как всегда в таких случаях, сизый, почти зимний налёт.

— Да,— сказал старик, закуривая трубку,— однажды летом вернулся я домой раньше, чем обыкновенно,

с такой получкой, что и не поверите. Какой-то мальчишка подал мне пятак. И всё! За весь день. В орлянку он, должно быть, этим пятаком играл — до того он был весь избитый и покалеченный. Его даже в трамвае бы не взяли, не то что на Инвалидном рынке.

Ноги у меня в то время уже начали опухать. Решил,— ночью окончу эту тягомотину, нет больше возможности за жизнь бороться. Да и зачем? Кому я нужен, отставной козы барабанщик? И как-то так странно подумалось, что всё-таки надо бы попрощаться с родной землёй, ясным небом, с солнышком (оно уже клонилось к закату), с птицами и деревьями.

Вышел я на улицу и сел у ворот на лавочку. В ту пору улицы в Петровском парке были вроде как деревенские, позарастали травой и шумели над ними по ветру старые московские липы.

Сижу без всяких мыслей в голове. А наискосок, против нашего домишка, было общежитие лётных учеников. Народ насмешливый, буйный. Никому не давали проходу, особенно мне. Как завидят меня, повысунутся из окон и ну давай кричать: «Старый хрыч! Скобелев! Музейная редкость!» А я прохожу, будто глухой.

Сижу я так-то на лавочке и вижу — идёт по нашей стороне господин невысокого роста, в чёрном костюме, в кепке. Идёт неторопливо, руки засунул за спину под пиджак и о чём-то, видимо, размышляет. Остановится, посмотрит на липы, будто ищет в них чего-то, и идёт дальше. Поравнялся он со мной, остановился и говорит этак быстро и вроде шутливо:

— Вы разрешите мне с вами посидеть?

— Пожалуйста,— говорю.— Сидеть здесь никому не возбраняется. Только вы подальше от меня садитесь.

Он прищурился, перестал улыбаться и посмотрел на меня очень внимательно.

— Это почему же?— спрашивает.

Я молчу, а он повторяет:

— Это почему же?

— Вы что же, сами не видите,— отвечаю я несколько зло,— что я нищий.

Он опять взглянул на меня и говорит как бы про себя:

— Да, вижу. Худо вам живётся.

— Уж чего хуже. Только и тяну, что из человеческой жалости. Побираюсь среди людей.

— Вы бывший офицер?

— Офицер,— отвечаю.— Собака! Клеймёный человек — вот и всё!

Он вдруг улыбнулся, да с такой добротой, что я даже несколько опешил.

— Постойте,— говорит.— Вы не волнуйтесь. Офицеры тоже разные бывали.

— Вот то-то, что разные, а ответ у всех выходит один. Я сам когда-то был комендантом Осовца, всех этих рукосуев, что норовили мордовать солдат, держал в страхе. Преследовал, сколько мог. Русский солдат — святой человек. Это вы запомните. Руками русского солдата вся наша история свершилась, да кстати и эта ваша революция.

Тут он откинулся несколько назад и залился таким смехом, что я чувствую, как заулыбался ему в ответ. Начал он меня расспрашивать про старую армию, про Осовец и про недавнюю войну. Я ему всё обстоятельно объяснил. Сказал, между прочим, что мы, военные, давно знали из секретных приказов, что готовится война. Этими моими словами он почему-то особенно заинтересовался и всё говорил: «Так-так! Ну-ну! Что же дальше?», а потом в упор меня спросил:

— А что вы думаете о большевиках? Получится у них что-нибудь?

— Как же,— говорю,— не получится! Что это вы, господин дорогой! Разве сами не видите! Хорошо-то это всё хорошо, только следить надо, чтобы нравственного облика народ не терял.

Он снова посмотрел на меня даже как-то пытливо и говорит:

— Совершенно я с вами согласен. А так жить, как вы, нельзя. Никак нельзя! Я напишу вам записку в одно место, сходите с этой запиской туда, и вам наверняка помогут.

Вынул блокнот, чего-то быстро там написал и подал мне. Я взял, сложил, засунул в карман. Что мне было в той записке! Кто это будет помогать офицеру? Но, конечно, я его поблагодарил за душевность, и он ушёл. А я его вслед спрашиваю:

— Вы что же, гуляете по этим местам?

— Да,— говорит,— я был болен, и врачи приказали мне ежедневно гулять.

Ушёл. У меня после этой встречи отлегло от сердца.

«Вот, думаю, есть ещё благородные и отзывчивые люди на свете. Не погнушался этот господин знакомством со мной, поговорил с нищим, с бывшим офицером».

Сижу так, размышляю. Вижу, бегут ко мне лётные ученики. Непонятно почему, но все какие-то взъерошенные, даже бледные. Подбегают, спрашивают: «Вы знаете, с кем вы говорили?» Откуда я знаю — с кем. Но у меня на тех лётных учеников такое зло было, так накипело на сердце за «старого хрыча» и «Скобелева», что я весь трясусь. «Знаю, говорю. Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Вам бы только над старым человеком насмешничать».

Они сразу осунулись, ушли. А вечером прислали с каким-то мальчишкой пачку чая и сахара не меньше фунта. «С чего бы это?— думаю.— Значит, прогнал я их, и заговорила в них совесть».

Молодёжь я очень люблю. Если бы не было молодёжи, то нам и жить было бы незачем. Скука была бы адовая. Так что эти лётные ученики — не в счёт.

Да, а я опять начал нищенствовать. Что поделаешь! Об этой записке позабыл. Засунул её в старую книгу Данилевского «Сожжённая Москва» — единственное моё достояние — и, представьте, позабыл. А среди зимы меня так зажало, что чувствую — упаду где-нибудь на улице в снег и окачурюсь. Тогда только и вспомнил о записке. Отыскал её, а она вся помятая, будто жёваная.

На записке адрес написан, какое-то ведомство,— я не разобрал. А мне в то ведомство идти неудобно из-за такого непрезентабельного вида записки. Да и далеко куда-то идти, в центр, в город. Там я за свою нищенскую жизнь ни разу и не был. Всё-таки пошёл, решился. Хозяйка меня просто заставила идти. «Вы, Пётр Степанович, говорит, ребёнок, а не отставной полковник. Перед всем пасуете. Удивительно, как это вас назначили комендантом крепости. Вам бы гуманные науки преподавать, а не стрелять из пушек».

Иду и глаз не подымаю. С нищенских времён появилась у меня эта привычка — людям в глаза не смотреть. Так было легче. Не могу от этой привычки до сих пор избавиться. Да вы, должно быть, сами заметили. Старческие привычки очень назойливые, упорные.

Но в общем пришёл. Ведомство большое, но тихое. Всюду ковровые дорожки лежат. Привратник или швей-

цар — не знаю, как их теперь называют — говорит мне довольно решительно: «Шинельку надо скинуть, гражданин». А как я её скину. У меня под ней почти ничего нету. «Уважь,— говорю швейцару,— старика. Не срами. Я вот по этой записке». Показываю ему записку. Он посмотрел, весь заметался, пододвигает мне стул и говорит: «Посидите, папаша. Я мигом о вас доложу». Ушёл и возвращается тотчас же. А за ним выходит ко мне средних лет гражданин в очках, лицо строгое, но улыбается ласково. Берёт меня под руку и ведёт за собой. Я иду, а с моих опорок снег оттаявший сваливается целыми комьями. Набрался я сраму за всю свою жизнь.

Человек этот привёл меня в кабинет, усадил в кожаное кресло, спросил, есть ли у меня какие-нибудь документы. Я всё, что было, ему отдал. Пропадать так пропадать! Он вышел, а время идёт. Прошло полчаса, сижу я один и уже не рад, что ввязался в эту историю. Думал было даже уйти, да никак нельзя без документов. Но тут вернулся этот человек — видимо, немалый начальник — и протягивает мне пенсионную книжку и ордера на питание и одежду и ещё на что-то — не то на дрова, не то на лечение в клинике. Заставляет меня расписаться и даёт мне пачку денег. «Это, говорит, в счёт первой пенсии. Небось наголодались».

Я глазам своим не верю. Он успокаивает меня: «Что вы волнуетесь, Пётр Степанович. Мы, говорит, труд высоко ценим, особенно такого знатока своего дела и честного человека, как вы. Вы получили по заслугам».— «Да откуда вы знаете про мои заслуги?» Он смеётся. «Из вашего формуляра, говорит. Из вашего послужного списка». Господи! Это из офицерского-то формуляра! Ну и дела!

Попрощались мы с ним, как приятели. Я вышел, плетусь к себе в Петровский парк, головы не подымаю, — и слёзы в глазах стоят, и привычку не могу преодолеть.

Дошёл до Тверской улицы. Стемнело уже, и зажглись над тротуарами фонари. И витрины магазинов освещены. «Дай, думаю, зайду, куплю хоть хлеба и колбасы какой-нибудь подешевле, хозяйку угощу».

За всю дорогу поднял впервые глаза, и тут меня будто молнией ударило. Портрет в витрине выставлен. Гляжу —он! Тот самый невысокий господин, что дал мне записку! И под портретом подпись печатная:

В. И. Ленин (Ульянов). И в соседней витрине — тоже он! Господи твоя воля!

Так я ничего не купил, заторопился домой. Внутри у меня всё дрожало, и поверите — всю свою последнюю кровь готов я был отдать за того человека. Освободил он меня из моей душевной тюрьмы. В великом я долгу перед ним и об одном-единственном сейчас жалею, что нечем мне отблагодарить. Нет уже ни сил, ни здоровья, ни времени впереди.

Пришёл домой, можно сказать прибежал, и к дочке хозяйской, к комсомолке, бросился: «Достаньте мне портрет Ленина. Проверить мне надо одно обстоятельство». Она пошла к себе в комнатушку и принесла газету. Называлась она «Беднота». И в газете — его портрет. Да вот он, я его вам покажу.

Старик непослушными пальцами расстегнул шинель и вытащил старый, обвязанный тесёмкой бумажник. Он развязал тесёмку и вынул из бумажника сильно потёртый портрет Ленина, вырезанный из газеты.

— С тех пор всю жизнь его с собой у сердца ношу,— сказал он глухим прерывающимся голосом.— Вот это был человек!

Голова у старика затряслась. Слёзы потекли по его жёлтым сморщенным щекам, но он не вытирал их.

Мы долго сидели молча.

Туман густел, стекал с желтеющих ив большими каплями. Где-то далеко за самым краем земли покрикивал паровоз. Из Богова доносило слабый запах дыма и ржаного хлеба. На дороге за Красивой Мечой простучала телега и девичий голос запел:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

— Вот видите, какая она, наша Россия,— сказал, помолчав, старик.— Я, голубчик, что-то устал. Года! Пойдёмте!

Через десять лет случилось мне проезжать по железнодорожной ветке из Тулы в Елец мимо Ефремова.

Снова была осень. Жёсткий вагон гремел, как жестяной. Мутно светили электрические лампочки. Всхрапы-

вали усталые пассажиры. Против меня лежал на верхней полке бритый старик в высоких охотничьих сапогах. Разговорились. Оказалось, что старик едет в Ефремов. Он всё приглядывался ко мне, потом сказал:

— Вроде знакомая личность. А где я вас встречал — не припомниаю. Не иначе, как в Богове.

Оказалось, что это был кузнец из Богова. Меня он помнил, но я его никак не мог узнать. Кузнец рассказал мне, что отставной полковник умер лет шесть назад.

— Беззлобный был человек,— сказал кузнец.— Пенсию получал от нашего правительства. За какие такие дела — об этом никому не известно. Сам он про это молчал. Жил скудно, деньги вроде копил. Вот и пошёл по деревне слух, что скупость его одолела. Оно и верно — к старости человек большей частью скупеет. А на поверку вышло иное. Вышло так, что старик наш как почуял, что смерть близится, почитай все деньги отдал на нашу школу. Чтобы, говорил, духовного облика народ не терял. И Насте — помните её — оставил достаточно денег. Очень он страдал об мальчишке её, об Пете. А Петя в запрошлый год умер. Не жилец был на этом свете! Не жилец! Я так полагаю, что это к лучшему.

В Ефремове кузнец сошёл. Я вышел на платформу отдышаться от вагонной духоты. Поезд спал. От него тянуло маслянистым теплом.

Там, в ночи, где по моим расчётам находилось Богово и должна была лежать беспросветная тьма, светилось слабое голубоватое зарево.

Я долго гадал, что это за свет сейчас в Богове, но так и не догадался. А спросить было некого.

Всё рассказанное выше — подлинная история. Повествование отставного полковника записано по памяти. Единственное, чего не сохранила моя память, это фамилию старика. Кажется, его звали Гавриловым, но утверждать это я не берусь.

*1956*

## ВО ГЛУБИНЕ РОССИИ

Каждому писателю нет-нет да захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в учебниках литературы.

Законы эти, конечно, великолепны. Они заставляют подчас ещё туманную мысль писателя входить в берега точного замысла и затем уже плавно несут её к конечному выводу, к завершению книги, подобно тому как река несёт свою воду к широкому устью.

Совершенно ясно, что не все законы литературы уже разнесены по параграфам. Существует много способов и приёмов живописного выражения мысли, ещё не получивших названия.

Лет двадцать назад в Москве показывали так называемую экспериментальную, созданную только для опыта, для пробы кинокартину о дожде. Показывали её работникам кино, так как думали, что обыкновенный зритель на такой картине будет зевать и уйдёт из кинотеатра в полном недоумении.

В картине был показан дождь во всём его разнообразии. Дождь в городе на чёрном асфальте, дождь в листве, дождь дневной и ночной, ливень и так называемый грибной, моросящий дождик, «слепой» дождь под солнцем, дождь на реке и на море, воздушные пузыри на лужах, мокрые поезда в полях, великое разнообразие дождевых облаков...

Всего перечислить я не могу, но воспоминание об этой картине сохранилось надолго и помогло мне ощутить с большой силой ту поэзию обыкновенного дождя, которую раньше я плохо замечал. Раньше меня, как и многих, поражал, например, нежный запах прибитой дождём пыли, но я не вслушивался в звуки дождя и не всматривался в пасмурную и мягкую расцветку дождевого воздуха.

Что может быть лучше для писателя,— а он по существу всегда должен быть и поэтом,— чем открытие новых областей поэзии вблизи себя и тем самым обогащение человеческого восприятия, сознания, памяти?

Всё это я пишу, конечно, для того, чтобы оправдать некоторые отступления от твёрдых требований сюжета, допущенных в этом рассказе.

Утро, когда начинается этот рассказ, наступило

пасмурное, но тёплое. Обширные луга были политы ночным дождём, а это значило, что не только в каждом венчике блестела капля воды, но всё великое множество трав и кустов издавало резкий и освежительный запах.

Я шёл лугами к одному довольно таинственному озерцу. На взгляд человека трезвого, ничего таинственного в этом озерце не было и быть не могло. Но впечатление загадочности от этого озерца оставалось у всех, и я, сколько ни пытался, не мог установить причину этого явления.

Для меня таинственность состояла в том, что вода в озерце была совершенно прозрачная, но казалась по цвету жидким дёгтем (со слабым зеленоватым отливом). В этой водяной черноте жили, по рассказам престарелых словоохотливых колхозников, караси величиной «с поднос от самовара». Поймать хоть одного такого карася никому не случалось, но изредка в глубине озерца вдруг вспыхивал бронзовый блеск и, вильнув хвостом, исчезал.

Ощущение таинственности возникает от ожидания неизвестного и не совсем обыкновенного. А густота и высота зарослей вокруг озерца заставляли думать, что в них непременно скрывается что-нибудь до сих пор не виданное: или стрекоза с красными крыльями, или синяя божья коровка в белую крапинку, или ядовитый цветок лоха с полым сочным стволом толщиной в человеческую руку.

И всё это действительно там было, в том числе и огромные жёлтые ирисы с мечевидными листьями. Они отражались в воде, и почему-то вокруг этого отражения всегда стояли толпами, как булавки, притянутые магнитом, серебряные мальки.

В лугах было совсем пусто. До покоса ещё оставалось недели две. Издали я заметил маленького мальчика в выцветшей и явно большой на него артиллерийской фуражке. Он держал под уздцы гнедого коня и что-то кричал. Конь дёргал головой и отмахивался от мальчика, как от слепня, жёстким хвостом.

— Дяденькя-я-я!— кричал мальчик.— А, дяденькя-я-я! Подь сюда!

Это был требовательный крик о помощи. Я свернул с дороги и подошёл к мальчику.

— Дяденькя,— сказал он, смело глядя на меня умо-

ляющими глазами.— Подсади меня на мерина, а то я сам не могу.

— А ты чей?— спросил я.

— Аптекарский я,— ответил мальчик.

Я знал, что у нашего сельского аптекаря Дмитрия Сергеевича детей нет, и подивился на необыкновенную фамилию этого мальчика.

Я поднял его на руки, но мерин тотчас, дико косясь, начал мелко перебирать ногами и отходить, стараясь держаться от меня на расстоянии вытянутой руки.

— Ох и вредный!— сказал мальчик с укором.— Прямо псих! Дайте я его за повод схвачу, тогда вы меня и подсадите. А так он не даст.

Мальчик поймал мерина за повод. Мерин тотчас успокоился, даже как будто уснул. Я подсадил мальчика ему на спину, но мерин продолжал стоять всё так же понуро и, казалось, собирался стоять так весь день. Он даже легонько всхрапнул. Тогда мальчик высоко подпрыгнул у мерина на хребте и с размаху ударил его босыми пятками по вздутым пыльным бокам. Мерин удивлённо икнул и поскакал лениво и размашисто к песчаным буграм за Бобровой протокой.

Мальчик всё время подпрыгивал, взмахивал локтями и колотил мерина пятками по бокам. Тогда я сообразил что, очевидно, только при такой довольно тяжёлой работе можно от этого мерина добиться чего-нибудь путного.

На озерце, глубоко запрятанном в крутых берегах, лежала зелёная илистая тень, и в этой тени серебрились от росы сами по себе серебряные ракиты.

На ветке ракиты сидела маленькая серая птица в красном жилете и жёлтом галстуке и издавала дробный и приятный треск, не раскрывая при этом клюва. Я подивился, конечно, на эту птаху и на её весёлое занятие и начал прорываться к воде.

Дело в том, что к нам приехала после экзаменов в московской школе городская девочка Маша, любительница растений, и я решил набрать ей в подарок букет из всяких хороших цветов. Но так как плохих цветов вообще нет, то мне выпала довольно трудная задача — что выбрать. В конце концов я решил взять по одному цветку и одной ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные росистые пахучие валы.

Я осмотрелся. По берегам уже зацвела желтоваты-

ми непрочными кистями таволга. Цветы её пахли мимозой. Донести их до дому, особенно в ветреную погоду, было почти невозможно. Но я всё же срезал ветку таволги и спрятал её под кустом, чтобы она не облетела раньше времени.

Потом я срезал широкие, как сабли, листья аира. От них исходил сильный и пряный запах. Я вспомнил, что на Украине хозяйки по большим праздникам устилают полы аиром, и стойкий запах его держится в хатах почти до зимы.

Стрелолист уже дал первые плоды — зелёные шишки, покрытые со всех сторон мягкими иглами. Я сорвал и его.

С трудом я зацепил сухой веткой и осторожно вытащил из воды белые плавучие цветы водокраса с красноватой сердцевиной. Лепестки его были не толще папиросной бумаги и тотчас обвяли. Пришлось его выбросить. Тогда я той же веткой подтащил к берегу цветущую водяную гречиху. Розовые её метёлки стояли над водой круглыми маленькими рощами.

До белых лилий я никак не мог дотянуться. Раздеваться же и лезть в озерцо мне не хотелось,— илистое его дно засасывало выше колен. Вместо лилий я сорвал береговой цветок с грубым названием сусак. Его цветы были похожи на вывернутые ветром маленькие зонтики.

У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябинка с тугими жёлтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаре́нником, а над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со стальными шипами на локтях и наколенниках.

Нагретый воздух над цветами «мрел», качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось, летали бабочки.

А ещё дальше высокой стеной вздымались боярышник и шиповник. Ветки их так переплелись, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалём, цветы боярышника каким-то чудом распустились на одном и том же кусте.

Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпадало с самыми короткими ночами — нашими русскими, немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролёт, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков. Кое-где на их снеговой крутизне можно заметить розоватый отблеск солнечного света. И серебряный рейсовый самолёт, идущий на большой высоте, сверкает над этой ночью, как медленно летящая звезда, потому что там, на той высоте, где пролегает его путь, уже светит солнце.

Когда я вернулся домой, исцарапанный шиповником и весь в ожогах от крапивы, Маша прибивала к калитке листок бумаги. На нём было вырисовано печатными буквами:

Много пыли на дороге,
Много грязи на пути,—
Вытирай почище ноги,
Если хочешь в дом войти.

— Ага!— сказал я.— Ты, значит, была в аптеке и видела там такую же записку на дверях?

— Ой, какие цветы!— закричала Маша.— Прямо прелесть! Да, я была в аптеке. И ещё я видела там прямо замечательного человека. Его зовут Иван Степанович Крышкин.

— Кто ж он такой?

— Мальчишка. Прямо необыкновенный.

Я только усмехнулся. Уж кого-кого, а деревенских мальчишек я знал насквозь. По многолетнему опыту в этом деле я смело могу утверждать, что у этих беспокойных и шумливых наших соотечественников есть одно действительно необыкновенное свойство. Физик определил бы его словом «всепроницаемость». Мальчишки эти «всепроницаемы», вернее, «всепроникающи», или, говоря старинным тяжеловесным языком, «вездесущи».

В какую бы лесную, озёрную или болотную глухомань я ни попадал, всюду я заставал мальчишек, предававшихся самым разнообразным и порой удивительным занятиям.

Я, конечно, не говорю о том, что в сентябре месяце на ледяной и туманной утренней заре заставал их, тря-

сущихся от холода в мокрых зарослях ольхи на берегу глухого озера в двадцати километрах от жилья.

Они сидели, притаившись в кустах, с самодельными удочками, и только характерный звук, который называется «шмыганье носом», выдавал их присутствие. Иногда они так затаивались, что я их вовсе не видел и вздрагивал, когда у себя за спиной вдруг слышал умоляющий хриплый шёпот:

— Дяденька, дай червячка!

Во все эти глухие места, где, как любили выражаться авторы романов о приключениях на суше и на море, «редко ступала нога человека», мальчишек приводило неистовое воображение и любопытство.

Мне кажется, что если бы я попал на Северный полюс или, скажем, на полюс Магнитный, то и там обязательно бы сидел и шмыгал носом мальчишка с удочкой, караулил бы у проруби треску, а на Магнитном полюсе выковыривал бы из земли сломанным ножом кусочек магнита.

Других особо примечательных свойств за мальчишками я не знал и потому спросил у Маши:

— Чем же он такой прямо необыкновенный, твой Иван Степанович Крышкин?

— Ему восемь лет,— ответила Маша,— а он разыскивает и собирает для аптекаря разные лечебные травы. Например, валериану.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Иван Степанович Крышкин до удивительности похож на того мальчишку, которого я подсаживал на старого мерина. Но все сомнения рассеялись, когда я узнал, что упомянутый Крышкин появился около аптеки вместе с гнедым мерином и что этот самый мерин, будучи привязан к изгороди, тотчас уснул. А Иван Степанович Крышкин вошёл в аптеку и передал аптекарю мешок с собранной за Бобровой протокой травой валерианой.

Оставалось неясным только одно — как это Иван Степанович Крышкин словчился нарвать валериану, не слезая с мерина. Но когда я узнал, что Иван Степанович привёл мерина на поводу, то догадался, что на мерине он доехал только до зарослей валерианы, а оттуда вернулся пешком.

В этом месте рассказа пора уже перейти к тому, о чём я и хотел рассказать,— к аптекарю Дмитрию Сергеевичу, и, пожалуй, не столько к нему, сколько к дав-

но занимавшей меня теме об отношении человека к своему делу.

Дмитрий Сергеевич был беззаветно предан фармации. Из разговоров с ним я убедился, что распространённое мнение о том, что существуют неинтересные профессии,— предрассудок, вызванный нашим невежеством. С тех пор мне начало нравиться в сельской аптеке всё, начиная от свежего запаха всегда вымытых дощатых полов и можжевельника и кончая запотевшими бутылками пузырящегося боржома и белыми фаянсовыми банками на полках с чёрной надписью «венена»— яд!

По словам Дмитрия Сергеевича, почти каждое растение содержит в себе или целебные, или смертоносные соки. Задача в том, чтобы извлечь эти растительные соки, узнать их свойства и употребить на благо человеку.

Многое, конечно, было уже открыто с давних времён,— например, действие настойки ландыша или наперстянки на сердце или что-нибудь иное в этом роде, но тысячи растений были ещё не исследованы, и этот труд представлялся Дмитрию Сергеевичу самым увлекательным из всех занятий в мире.

В то лето Дмитрий Сергеевич был занят извлечением витаминов из молоденькой сосновой хвои. Он заставлял всех нас пить зелёный жгучий настой из этой хвои, и хотя мы морщились и ругались, но всё же должны были согласиться, что действует он превосходно.

Однажды Дмитрий Сергеевич принёс мне почитать толстую книгу — фармакопею. Я не запомнил точного её названия. Книга эта была не менее увлекательна, чем самый мастерски написанный роман. В ней были описаны все, подчас совершенно удивительные и неожиданные качества многих растений,— не только трав и деревьев, но и мхов, лишайников и грибов. Кроме того, в ней было подробно рассказано, как приготовлять из этих растений лекарства.

Каждую неделю Дмитрий Сергеевич печатал в местной районной газете «Знамя Труда» маленькие статьи о целебной силе растений — какого-нибудь скромнейшего подорожника или табачного гриба. Статьи эти, которые Дмитрий Сергеевич почему-то называл фельетонами, печатались под общим заголовком «В мире друзей».

В некоторых избах я видел вырезанные из газеты

и прибитые гвоздиками к стене эти статьи Дмитрия Сергеевича и по этому признаку узнавал, с какой болезнью боролся обитатель избы.

В аптеке постоянно толклись мальчишки. Они были главными поставщиками трав для Дмитрия Сергеевича. Работали мальчишки самоотверженно и забирались в такие глухие места, как, например, болото по названию Хвощи, или даже за отдалённую речку со странным названием Казённая, где редко кто бывал, а кто бывал, тот рассказывал о пустошах, покрытых мелкими илистыми озёрами и заросших высоким конятником.

За доставку травы мальчишки ничего не требовали, кроме детских резиновых сосок. Соски эти они надували ртом, тужась и краснея, завязывали тесёмочкой и делали из них подобие воздушных шаров, так называемые «летучие пузыри». Пузыри эти, конечно, не летали, но мальчишки постоянно таскали их с собой и то быстро вертели их на верёвочке вокруг пальца, издавая угрожающее жужжание, то просто били этими пузырями друг друга по голове, наслаждаясь восхитительным треском, сопровождавшим это занятие.

Несправедливо было бы думать, что мальчишки проводили большую часть дня в праздности и развлечениях. Развлекались они только летом во время школьных каникул, да и то не каждый же день. Большей частью они помогали взрослым: пасли телят, возили хворост, резали лозу, окучивали картошку, чинили изгороди и приглядывали в отсутствие взрослых за маленькими детьми. Хуже всего было, конечно, то, что маленькие едва умели ходить, и их приходилось всюду таскать с собой на закорках.

Больше всего мальчишки любили в деревне двух человек: Дмитрия Сергеевича и старика по прозвищу «Утиль».

«Утиль» появлялся в деревне не часто — раз в месяц, а то и реже. Он лениво ковылял в пыльном балахоне рядом с мухортой лошадёнкой, старательно тащившей телегу, волочил за собой по песку верёвочный кнут и заунывно кричал:

— Тряпьё, старые калоши, рога, копыта принимаем!

На передке телеги у «Утиля» стоял волшебный ящик, сколоченный из простой фанеры. На откинутой крышке ящика висели на гвоздиках пёстрые игрушки — свистульки, шарики на резинке, целлулоидовые куколки,

переводные картинки и мотки ярких бумажных ниток для вышивания.

Как только «Утиль» въезжал в деревню, тотчас к нему, как цыплята на зов хозяйки, бежали со всех дворов, торопясь и спотыкаясь, мальчишки и девочки, волоча своих «младшеньких» братишек и сестрёнок и прижимая свободной рукой к груди старые мешки, стоптанные чуни, поломанные коровьи рога и всякую ветошь.

«Утиль» обменивал тряпьё и рога на новенькие, ещё липкие от краски игрушки и по поводу каждой игрушки вступал в длительные разговоры, а порой и распри со своими маленькими поставщиками.

Взрослые никогда ничего не выносили «Утилю». Это было исключительное право детей.

Очевидно, общение с детьми развивает в человеке многие добрые свойства. «Утиль» был человек по внешности суровый, даже, как говорится, «страховидный»— косматый, заросший седой щетиной, с багровым от солнца и ветра облупленным носом. Голос у него был зычный и грубый. Но, несмотря на эти угрожающие признаки, «Утиль» никогда не отказывал детям. Один только раз он не принял у девочки в красном выцветшем сарафане совершенно истлевшие голенища от отцовских сапог.

Девочка как-то вся сжалась, втянула голову в плечи и, будто побитая, медленно пошла от телеги «Утиля» к своей избе. Дети, окружавшие «Утиля», вдруг притихли, наморщили лбы, а кое-кто и засопел носом.

«Утиль» свёртывал из махорки толстую «козью ножку» и, казалось, не замечал ни плачущей девочки, ни поражённых его жестоким поступком детей.

Он не спеша заклеил «козью ножку», закурил, потом сплюнул. Дети молчали.

— Вы что?— сердито спросил «Утиль».— Ай не понимаете? Я государственное поручение сполняю. Ты мне грязь не носи. Ты мне носи предмет для дальнейшего производства. Понятно?

Дети молчали. «Утиль» затянулся и, не глядя на детей, сказал:

— Сбегайте-ка за ней. Мигом! Сбычились на меня, будто я душегуб!

Вся стая детей, как вспугнутые воробьи, кинулась к избе девочки в красном сарафане.

Её приволокли, румяную и смущённую, с невысохшими ещё слезинками на глазах, и «Утиль» важно и строго осмотрел её голенища, бросил их на телегу и протянул девочке взамен самую лучшую, самую пёструю куклу с круглыми пунцовыми щёчками, восторженно вытаращенными водянисто-голубыми глазами и пухлыми растопыренными пальцами.

Девочка робко взяла куклу, прижала к худенькой груди и засмеялась. «Утиль» дёрнул за вожжи, лошадёнка прижала уши и влегла в оглобли, и телега, скрипя по песку, двинулась дальше.

«Утиль» шёл рядом с ней, не оглядываясь, всё такой же суровый и как будто бы грубый, и молчал. Только пройдя двадцать изб, он прокашлялся и протяжно закричал:

— Ветошь, рога, копыта, рваные калоши принимаем!

Глядя ему вслед, я подумал, что вот нет как будто на свете занятия менее приятного, чем быть ветошником, а между тем сумел же этот человек сделать из него радость для колхозной детворы.

Любопытно, что «Утиль» работал даже, я бы сказал, с некоторым вдохновением, с выдумкой, с заботой о своих шумливых поставщиках. Он добивался от своего начальства, чтобы на поездки по деревням ему каждый раз выдавали другие игрушки. Ассортимент игрушек (по воле хозяйственников, очевидно не знающих и не любящих свой родной язык, тяжеловесное иностранное слово «ассортимент» совершенно вытеснило простые русские слова «подбор» или «выбор») у Утиля был разнообразный и увлекательный.

Величайшим событием в деревне был тот случай, когда «Утиль», по заказу Дмитрия Сергеевича, привёз из города бронзированные рыболовные крючки и расплатился ими по особому списку на четвертушке бумаги с теми мальчиками, которые собирали для аптеки лекарственные травы. Иван Степанович Крышкин получил по заслугам десять крючков.

Раздача крючков происходила в благоговейной тишине. Мальчишки, как по команде, сняли свои видавшие виды кепки и, сопя, с необыкновенной сосредоточенностью и тщательностью начали закалывать крючки в подкладку кепок — самое верное хранилище всех мальчишеских ценностей.

Все мы привыкли к тому, что у нас в России чело-

век, с виду неприметельный и скромный, может оказаться на поверку очень незаурядным и значительным. Особенно понимал это писатель Лесков. Понимал, конечно, потому, что досконально знал и любил Россию, изъездил её вдоль и поперёк и был наперсником и закадычным другом сотен простых наших людей.

Под скромной внешностью Дмитрия Сергеевича, который, в шутку говоря, отличался только тем, что в нём не было ничего примечательного, скрывался неутомимый искатель нового в своём деле, требовательный к себе и окружающим гуманист.

Под грубой внешностью «Утиля» билось широкое и доброе сердце, и, кроме того, это был человек воображения, которое он применил к своему как будто мизерному делу.

Я подумал об этом и вспомнил одно забавное происшествие в наших местах, случившееся с моим приятелем и со мной.

Однажды мы поехали рыбачить на Старую Канаву. Так в этих местах зовут узкую лесную речку с быстрым течением и коричневой водой. Речка эта протекает в большом отдалении от человеческого жилья, в глубине леса, и попасть на неё не так-то просто. Сначала нужно ехать сорок километров по узкоколейке, потом километров тридцать идти пешком.

На Старой Канаве в ямах с водоворотами обитали крупные язи, и за ними-то мы и поехали.

Возвращались мы на следующий день. В лесные тихие сумерки мы вышли к разъезду на узкоколейке. Сильно пахло скипидаром, опилками и гвоздикой. Был уже август, кое-где на берёзах висели первые пожелтевшие листья. То один, то другой такой лист загорался по очереди золотым пламенем от луча закатного солнца.

Подошёл маленький поезд, весь из пустых товарных вагонов. Мы влезли в тот вагон, где было побольше народа. Женщины везли кошёлки с брусникой и грибами. Два оборванных и небритых охотника сидели, свесив ноги, в открытых дверях вагона и курили.

Сначала женщины разговаривали о своих сельских делах, но вскоре таинственная прелесть лесных сумерек вошла в вагон, и женщины, вздохнув, замолчали.

Поезд вышел в луга, и стал виден во всю его ширь тихий закат. Солнце садилось в травы, в туманы и ро-

сы, и шум поезда не мог заглушить птичьего щёлканья и перелива в кустах по сторонам полотна.

Тогда самая молодая женщина запела, глядя на закат, и глаза её казались золочёными. Пела она простую рязанскую песню, и кое-кто из женщин начал ей подпевать.

Когда женщины замолкли, оборванный охотник в обмотках из солдатской шинели сказал вполголоса своему спутнику:

— Споём и мы, Ваня? Как думаешь?

— Ну что ж, споём!— согласился спутник.

Оборванцы запели. У одного был густой мягкий бас. Он лился свободно, широко, и мы все сидели, поражённые этим необыкновенным голосом.

Женщины слушали певцов, покачивая головами от удивления, потом самая молодая женщина тихонько заплакала, но никто даже не обернулся в её сторону, потому что это были слёзы не боли и горечи, а переполняющего сердце восхищения.

Певцы замолкли. Женщины начали благословлять их и желать им счастья и долгой жизни за доставленную редкую радость.

Потом мы расспросили певца, кто он такой. Он назвал себя колхозным счетоводом из-за Оки. Мы начали уговаривать его приехать в Москву, чтобы кто-нибудь из крупных московских певцов и профессоров Консерватории послушал его голос. «Преступно,— говорили мы,— сидеть здесь в глуши с таким голосом и зарывать талант свой в землю». Но охотник только застенчиво улыбался и упорно отнекивался.

— Да что вы!— говорил он.— Какая же опера с моим любительским голосом! Да и возраст у меня не такой, чтобы так рисковать и ломать свою жизнь. У меня в селе сад, жена, дети учатся в школе. Что это вы придумали — ехать в Москву! Я в Москве был три года назад, так у меня от тамошней сутолоки голова с утра до ночи кружилась и так болела, что я не чаял, как бы мне поскорее удрать к себе на Оку.

Маленький паровоз засвистел тонким голосом. Мы подъезжали к своей станции.

— Вот что!— решительно сказал мой приятель охотнику.— Нам сейчас выходить. Я оставлю вам свой московский адрес и телефон. Приезжайте в Москву непременно. И поскорей. Я вас сведу с нужными людьми.

Он вырвал из записной книжки листок и торопливо набросал на нём свой адрес. Поезд уже подошёл к станции, остановился и тяжело отдувался, готовясь тронуться дальше.

Охотник при слабом свете заката прочёл записку моего приятеля и сказал:

— Вы писатель?

— Да.

— Как же, знаю. Читал. Очень рад познакомиться. Но позвольте и мне в свою очередь представиться,— солист Большого театра Пирогов. Ради всего святого, не обижайтесь на меня за этот небольшой «розыгрыш». Одно только могу сказать на основании этого розыгрыша: счастлива страна, где люди так горячо относятся друг к другу.

Он засмеялся.

— Я говорю, конечно, о том, с каким жаром вы хотели помочь колхозному счетоводу стать оперным певцом. И уверен, что если бы я действительно был счетоводом, то вы бы не дали погибнуть моему голосу. Вот за это спасибо!

Он крепко потряс нам руки. Поезд тронулся, и мы остались, озадаченные, на дощатой платформе. Тогда только мы вспомнили рассказ Дмитрия Сергеевича о том, что певец Пирогов каждое лето отдыхает у себя на родине, в большом заокском селе неподалёку от нас.

Пора, однако, кончать этот рассказ. Я ловлю себя на том, что заразился словоохотливостью от здешних стариков и разболтался, как паромщик Василий. У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та — третью, третья — четвёртую, и потому нет его рассказам конца.

Задача у меня была самая скромная — рассказать хотя бы и незначительные случаи, свидетельствующие о талантливости и простосердечии русского человека. А о значительных случаях мы ещё поговорим.

*1950*

## БЕГ ВРЕМЕНИ

Московскому художнику Лаврову предложили написать несколько пейзажей Волги. Лавров с радостью согласился. Но по медлительности своей прособирался всё лето и выехал из Москвы на Волгу только в начале сентября.

Широкотрубный пароход сверкал протёртыми до кристальной игры стёклами. В машинном отделении глухо гудели моторы. Пароход плавно нёс свои огни и палубу, заполненную нарядными пассажирами, мимо подмосковных дачных рощ и разливов, где догорал холодноватый закат. Леса на берегах уже ржавели, золотели. Сигнальные фонари канала неярко светили в осенней мгле.

Лавров, несмотря на пожилой возраст, был застенчив и потому туго сходился с попутчиками. Людей он оценивал прежде всего с точки зрения их характерности и живописности.

Больше всего на пароходе его занимали два человека — загорелая девушка-штурман Саша и один из пассажиров, бритый старик с припухшими веками, известный историк.

Рыбинское море проходили на рассвете. Лавров вышел на палубу. Там было пусто и сыро от росы. С запада навстречу мутноватой заре, предвещавшей непогоду, катились, шумя, невысокие волны.

Историк тоже вышел на палубу. Он стоял у борта, подняв воротник пальто и придерживая чёрную стариковскую шляпу.

С мостика сбежала по крутому трапу Саша. Она была в тёмной шинели, кожаных перчатках и берете. Под берет она подобрала свои каштановые косы. Саша сменилась с ночной вахты. Лицо её горело от холода, губы обветрились.

— Здравствуйте!— приветливо сказала она Лаврову и улыбнулась.— Любуетесь морем?

— Ещё бы!— ответил Лавров.— Почти невозможно поверить, что всё это сделано человеческими руками.

— Я сама из этих мест, из Мологи,— ответила Саша. —Я здесь на дне этого моря,— она показала на волны, отливавшие розовым светом зари,— девчонкой грибы собирала. Совсем недавно. Это море моложе меня.

— Движение событий приобрело такую стремительность, что история не успевает угнаться за ними,— сказал историк и натянул шляпу почти до ушей.— События проносятся, пересекаясь и опережая нашу кропотливую историческую мысль. Нужна целая армия историков, чтобы утвердить в научных исследованиях этот полёт времени.

Около Кинешмы пароход обогнал вереницу плотов.

Порывистый ветер нёс лёгкие рваные облака. Тени от них пролетали по реке и лесистым берегам, уходившим в воду осыпями песка. Вслед за тенью всегда прорывалось солнце, и тогда всё вокруг начинало сверкать множеством красок и отблесков. То вылетит из тени, вспыхнув снежной белизной, и снова умчится в тень стая речных чаек, то запылает красный флаг над отдалённой избой на берегу, должно быть, над сельсоветом, то сосновый бор весь затрепещет и заблестит, будто его полили косым светлым дождём, то тот же бор покроется зелёной сумрачной пеленой, и до парохода долетит его протяжный величавый шум.

Волны от парохода заплёскивали на плоты. На толстых сосновых кряжах, стянутых стальными тросами, стояли девушки с баграми и что-то кричали, но ветер уносил их крики к другому берегу, и ничего нельзя было разобрать. Были видны только крепкие зубы девушек на загорелых смеющихся лицах, разноцветные платки и взлетающие от ветра ситцевые подолы над смуглыми ногами.

Саша стояла на мостике. Она приложила ко рту медный рупор и крикнула:

— Как живём, девушки?

— Хорошо, Саша!— дружно закричали в ответ девушки и замахали платками.

— Далеко сплавляете?

— До самого Сталинграда! Проща-ай! Не забывай про нас, про волжских девчонок!

Глядя на девушек, Лавров понял, что Саша для них — свой человек, что эта женщина-штурман, должно быть, известна и любима на Волге. Да иначе и быть не могло: не так уж часто встречались на Волге женщины-штурманы.

Вечером Лавров пожаловался Саше, что вот, мол, замечательный был сюжет для картины — девушки-плотогоны в ветреный, переменчивый по краскам день,—

но ему не удалось даже сделать наброска: слишком быстро всё пронеслось мимо.

— Вы бы хоть придержали пароход на одну минуту,— шутливо сказал Саше Лавров.

— Я и сама понимаю,— ответила Саша.— Но только, Владимир Петрович, этого никак нельзя.

— Эх, вы!— вздохнул Лавров.— Машинные люди! Недооцениваете вы значения красоты в нашей жизни!

— Что вы!— горячо возразила Саша.— Мы очень любим и ценим красивое. Только и вы нас поймите.

— Чего же вас особенно понимать?

— А вы представьте себе всю сложность и стройность движения по всей стране,— ответила Саша.— Движения всех поездов, пароходов и самолётов, сеть точек пересечения их путей, где все они должны быть точно по расписанию. Это нужно для того, чтобы жизнь шла ровно и без перебоев. Разве это не красота?

— Пожалуй,— согласился Лавров.— Я об этом как-то не подумал.

Шли Волгой. Тянулись золочёные холмы крутого правого берега. Стальные мачты электропередач стояли по колена в осенней листве. Там, в вышине, по туго натянутым проводам непрерывно лился электрический ток: Лаврову почему-то казалось, что этот ток отблескивает синевой. Может быть потому, что ток, обнаруживая себя, давал голубые вспышки.

Левый берег уходил в туман. Туман этот был разнообразно окрашен. В нём были то розовые, то золотые, то синие и сиреневые, то пурпурные и бронзовые широкие и размытые пятна. Лавров знал, что это просвечивают сквозь туман то леса, то облака, освещённые вечерним солнцем, то обрывы берегов, то, может быть, далёкие белые здания невидимых в тумане городов.

Однажды Лавров сидел на скамейке на верхней палубе около капитанского мостика, где не было пассажиров. Он поставил на табурет перед собою подрамник и быстро, широкими мазками набрасывал на холсте весь этот затихший к вечеру мир воздуха, тумана, разноцветных вод, отражений и золотеющих далей.

Саша стояла на вахте на капитанском мостике. Она несколько раз вопросительно взглядывала на Лаврова, потом смотрела на небо. Ей было досадно, что так

быстро надвигается вечер, что очень скоро весь этот блеск погаснет и сумерки окрасят всё в однообразный серый цвет. «Не успеет!— подумала Саша.— Писал бы поскорей, право!»

Саша потянула за трос от гудка. Пароход протяжно и предостерегающе закричал — наперерез пароходу шла лодка.

Пароход быстро подходил к ней, и Лавров вдруг увидел: в лодке стояла молодая женщина в расстёгнутом жакете. Она прижимала к себе охапку осенних веток и смотрела на пароход. На вёслах сидел чёрный от загара парень. Он перестал грести и тоже смотрел на пароход. Отражение осенних веток качалось в воде у борта лодки.

Весь этот вечер, и женщина, и сиявшее над рекой облако, похожее на гроздь винограда, показались Лаврову таким ясным воплощением мира и отдыха всей этой родной и необыкновенной страны, что он только вздохнул и сердито посмотрел на Сашу.

Одно мгновение он ждал, подняв кисть, что Саша хотя бы на минуту остановит пароход, но лицо у Саши было каменное и даже как будто злое.

Лодка с женщиной быстро уходила, покачиваясь, в сумерки. Последний свет заката падал на охапку осенних веток. Темнота никак не могла погасить золотое свечение листьев.

Лавров с сердцем захлопнул ящик с красками и пошёл к себе в каюту. Проходя мимо капитанского мостика, он искоса взглянул на Сашу — она покраснела и отвернулась.

«Ну, ладно!— подумал Лавров.— Поговорим как-нибудь».

У себя в каюте он долго обдумывал всё, что скажет Саше. Получалась целая обвинительная речь. Но в тот вечер Лавров Сашу не видел: она, очевидно, спала после вахты, а за ночь обвинительная речь как-то выцвела и показалась ему даже глупой.

Лавров задумался. Чего он добивается? Чтобы жизнь остановилась перед ним? Но она никогда не остановится. Она всегда будет нестись широким и многоцветным потоком в даль, которую мы зовём нашим будущим. Отстанешь — и поток уйдёт, тускнея, с глаз, и потом его уже никак не догонишь.

«Девочка, пожалуй, права,— решил, наконец, Лавров.— Зря я на неё рассердился...»

Встретив через день Сашу на палубе, Лавров только посмотрел в её серые застенчиво-весёлые глаза и сказал:

— Обязательно вас напишу. Только не сейчас, а зимой, в Москве. Согласны?

— Ну что ж,— ответила Саша.— Спасибо, Владимир Петрович.

И она легко и доверчиво положила свою руку на рукав Лаврова.

Лавров взглянул на реку. Линии огней сияли, переливаясь, в осенней темноте. Свежо и влажно, чёрным, исполинским, как бы стеклянным валом Волга уходила во всю свою ширину в бездну ночи и уносила, растягивая в световые полосы и разрывая, отражение этих огней. Пароход подходил к строящейся Куйбышевской плотине.

* * *

В декабре Саша пошла в Третьяковскую галерею на ежегодную выставку картин.

Был вечер. Падал ленивый снег, и, глядя с улицы на освещённые окна домов, казалось, что там, в этих домах, горят тысячи свечей и идёт какой-то тихий зимний праздник.

На выставке было мало народу. Саша быстро прошла по залам, разыскивая картину Лаврова. Она заметила ее издали, остановилась, и от волнения ей на минуту вдруг стало трудно дышать...

Как, какой непонятной силой этот молчаливый и даже неловкий на вид человек остановил навеки тот удивительный вечер на реке и увидел в нём гораздо больше прелести и красок, чем увидела в то же самое время она? В чём его сила? В таланте? Или в соединении таланта с любовью к своей удивительной стране?

«Как он смог по памяти написать и этот вечер, и лодку, и женщину с охапкой осенних веток?— подумала Саша.— Я ведь не задержала пароход, хотя отлично поняла, что он ждал этого».

Чем дольше Саша смотрела на картину, тем всё сильнее ей хотелось поблагодарить Лаврова и, может

быть, даже с нежностью и удивлением прикоснуться к его худой испачканной красками руке.

Саша стояла, смотрела издали на картину, и волнение сменилось у неё неожиданной бурной радостью. «Как всё хорошо! — подумала она. — Даже вот этот мохнатый, ленивый щекочущий лицо вечерний снег за окнами. Всё, всё!..»

*1951*

## КОРДОН-«273»

Этот очерк написан в мезонине деревенского дома. Окна открыты, и на свет свечи залетают серые бабочки. Так тихо, что слышно, как внизу, в пустых комнатах, стучат ходики. Далеко на Оке гудит пароход. Деревня спит, в окнах темно. Со двора пахнет сырым тёсом

На стене висит гравированный портрет Гарибальди с его порыжелой подписью. Как он сюда попал? Биографии вещей бывают иногда так же неожиданны, как и биографии человеческие. Я стараюсь восстановить путь этого портрета из Парижа, где он был гравирован, до деревни в средней России.

На портрете нет подписи гравёра, но с оборотной стороны гравюра заклеена французской газетой. Я догадываюсь: бывший владелец этого деревенского дома, давно умерший художник, долго жил в Париже, бывал в Буживале у Тургенева, знал Виардо и, очевидно, встречался с Гарибальди.

Гарибальди! Небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты!

Гарибальди живёт здесь, в тесной комнате, рядом с бронзовым барельефом работы Фёдора Толстого «Бой при Фэршампенуазе». Если посмотреть вечером из сада в окна мезонина, то комната с портретом Гарибальди покажется слабо освещённой каютой, затерянной в океане непроглядной ночи.

На днях я уеду в Москву — последний обитатель большого пустующего дома, — а все вещи: и барельеф, и портрет Гарибальди, и старая лампа с рисунком водяной мельницы, и стол, и букет иван-чая — всё это безропотно останется здесь зимовать. И так странно,

вернувшись через год, увидеть все эти вещи на тех же местах и, увидев, понять, что год прибавил седины и опыта, а здесь всё неизменно, и только, может быть, гравюра стала чуть-чуть желтее.

Я стараюсь представить себе эту комнату в то время, когда меня уже здесь не будет. Медленно потянутся дни, долго будет моросить дождь. Ветер завалит крышу палыми, покоробленными листьями. А потом мороз схватит сырые пески, выпадет снег, сизое небо провиснет над домом и так и провисит до весны.

Цветы иван-чая промёрзнут, превратятся в бурый пепел и разлетятся пылью, как только весной откроют двери. Высохший чудесный мир! Об этом можно судить, только рассмотрев эти цветы через увеличительное стекло,— в них всё целесообразно и выработано. Этот сухой букет, который выбросят в мусорную кучу, так же сложен, как и вся земля с растениями, водами и воздухом, окутывающим её прозрачной сферой.

Вещи усиливают ощущение времени. Часто они живут дольше нас. Иногда хочется жить столько же, сколько проживёт этот портрет Гарибальди.

Самое ощущение нашей жизни как чего-то единственного и удивительного растворяет в себе разочарования, потери и проблески неполного счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и является прославление жизни как самого прекрасного и разумного, что существует под солнцем.

Давно известно, что прелесть жизни не только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти и в воспоминаниях. Часто воспоминание сродни выдумке, творчеству. Кто из нас, вспоминая, не придаёт пережитому черты несбывшегося? Кто, вспоминая, не оставляет в памяти только сущность пережитого?

Воспоминания — это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир.

Весь этот разговор — только затянувшееся предисловие к тому, чтобы вспомнить и представить себе то, что лежит в пятидесяти километрах от комнаты, где Гарибальди обречён смотреть на мир прищуренными глазами. Этот разговор-воспоминание будет идти о реке Пре, вытекающей из Великих озёр.

Однажды осенним вечером мы, нагрузив рюкзаки, ушли из деревенского дома на станцию узкоколейки,

Пески похолодали к ночи. Знакомая синяя звезда взошла над краем леса.

Как всегда, начался спор: что это — Юпитер или какая-нибудь другая звезда? Она несла свой мерцающий огонь над тёмными вершинами сосен, песчаными холмами, заросшими вереском, над тесовыми крышами и скворечниками — над всем этим лесным краем, несла, прокладывая свой медленный путь среди созвездий и как бы подчёркивая ясность и прохладу ночи.

В вагоне узкоколейки было темно и тесно. Только луна, поднявшаяся к полуночи, мелькала позади сосен и освещала медным огнём лица пассажиров.

Рядом сидела девочка лет двенадцати в накрахмаленном розовом платье, с розовыми лентами в косах, в розовом платке на казавшихся розовыми волосах. Даже глаза её блестели от луны восторженным розовым светом. Она возвращалась в деревню из областного города, где гостила у брата — директора ремесленной школы. Она рассказывала тоненьким, тоже розовым голосом о всех кинокартинах, какие видела в городе, особенно об одной — название её она позабыла,— где «к карете привязали лошадей и они поволокли каких-то нарядных тётенек в гости».

— А ты видела картину про композитора Глинку?— неожиданно спросил из темноты хриплый мужской голос.

— Должно, видала. Только у меня в голове всё переболталось, и я уже не помню.

— А чья музыка к этой картине?— строго спросил тот же голос.— Не знаешь? Самого Глинки. А, к примеру, есть опера «Хованщина» с музыкой замечательной. Так её написал композитор Мусоргский. Это молодёжи следует знать.

— Где там знать!— ответила пожилая женщина, всё время щупавшая у себя под ногами мешок с луком.— Всего не перезнаешь. Моготы не хватит.

— Пустые слова!

— Вот вы говорите,— лукаво сказал старичок, всё время дремавший и вдруг проснувшийся,— про композитора Мусоргского. Был с ним у нас в Коростове один случай...

— С кем это — с ним?

— Да я и говорю, с композитором Мусоргским. Половодье в запрошлый год было огромное, Ока разли-

лась на семь километров. Ночи, конечно, чёрные. Такая темнота — никаким глазом её не просверлишь! А рулевой, видать, слегка выпил. Сбился с фарватера и посадил его на бугор в лугах. Да так крепко: три недели тащили-тащили, стащить не смогли. Так он и обсох на лугах. Год простоял, до нового разлива. Только полой водой его и подняло.

— Ты что-то закручиваешь, дед, непонятное,— сказал знаток композиторов.— Со сна ты, что ли, бормочешь?

— Верно говорит!— закричал из темноты молодой голос.— Был такой случай с пароходом «Композитор Мусоргский». Я сам видал. Стоит в лугах пароход, а вкруг него разные цветы цветут. Прямо смех!

— Кому смех,— пробормотал старик,— а рулевой заработал на этом деле судебный приговор.

— За дело!— сказала женщина с мешком лука.— Не губи пароход! Им, мужикам, когда напьются, всё трын-трава. Пароход небось машина государственная. А он, пьяный вахлак, крутит колесо одним пальцем. Глаза бы не глядели на дураков этих водочных!

— Нынче пьяный в редкость,— примирительно заметил от дверей невидимый человек, затаптывая цигарку.— Нынче пьяного у нас в колхозе днём с огнём не сыщешь. Протрезвел народ. И работает шибче.

— За других не скажу, а я свои трудодни соблюдаю,— тотчас ответила пожилая женщина и снова пощупала мешок с луком; стало слышно, как захрустела сухая луковая шелуха.

— Твой лук? С усадьбы?

— Ну да, мой. Личный.

— На ярмарку, что ли, везёшь? В Клепики?

— На ярмарку.

— То-то я гляжу,— заметил знаток композиторов,— что полон вагон цыган. Тоже в Клепики на ярмарку тянут.

— Ой, красавец ты писаный!— пропела грудным голосом цыганка, стоявшая у окна, и зажгла спичку, чтобы закурить.— Весь наш табор — всего шесть человек. А тебе уже тесно...

Свет спички осветил синие волосы цыганки.

— Наша жизнь кочевая,—вздохнула цыганка.— Она как сон: сызнова никогда не приснится.

— Удивительный народ!— тихо сказал знаток ком-

позиторов и наклонился ко мне:— Еду я как-то в Сасово. Весь вагон — битком, и все с тяжеленными мешками. А рядом сидит молодая цыганка с девочкой на руках. Красавица цыганка! Вещей у неё никаких, только узелок. Что-то такое ничтожное завязано в платке. Девочка проснулась, хотела было заплакать. Только цыганка эта самая развязывает узелок. Я заглядываю, а в нём только кусок хлеба да три больших георгины. Дала девочке георгину, вроде как игрушку,— и та затихла, начала цветком играть.

— Любовь имеют к таким предметам,— заметил старик.

Цыгане вышли на площадку, поговорили о чём-то, и неожиданно низкий женский голос запел так сильно, что заглушил стук буферов и шум веток, хлеставших по стенкам вагона. Цыганка пела давно позабытую песню:

Как цветок голубой среди снежных полей,
Я увидел твою красоту...

Вагон притих. Леса неслись мимо, омытые лунным светом. В глубине заросших дорог лежал, белея, туман.

По тому, как все молча слушали песню цыганки, было ясно, что нет человека в вагоне — кто бы он ни был: пильщик ли, колхозный ли конюх, девочка в розовом платье, или старик, столько перевидавший в жизни, что в глазах его осталась только ласковость ко всему,— нет человека, который не испытал бы этого ощущения красоты и ожидания встречи с нею.

— Да,— сказал конюх, когда цыганка перестала петь,— была у меня жена Таня, тоненькая, как струнка...

Конюх осекся и замолчал. Так никто и не узнал, что случилось с его женой. И никто не решился спросить конюха о Тане, даже любопытная пожилая женщина с мешком лука. Она только вздохнула и, низко наклонившись, осторожно вытерла оба глаза концом чёрного головного платка.

Мы сошли поздней ночью на полустанке Летники. По краям дороги слабо шумел берёзовый перелесок. С болот наносило холод.

Шли мы долго, мерно, как в походе. Через два часа небо на востоке начало наливаться чистой и слабой синевой. Там, далеко над лесами, зарождалась заря.

И на этой смутной заре ещё пронзительнее, чем ночью, пылала звезда.

С каждым километром нарастала глушь. Мы медленно входили в обширное пустынное полесье.

Когда совсем рассвело, мы сели отдохнуть на обочине. Молодая осина дрожала над головой лимонными нежными листьями. Они тихо слетали, запутывались в паутине, в кустах волчьей ягоды.

— Совершенно нестеровская Россия,— сказал вполголоса кто-то из нас.

Мы привыкли говорить «левитанские места» и «нестеровская Россия». Эти художники помогли нам увидеть свою страну с необыкновенной лирической силой. Нет ничего плохого в том, что к зрелищу этих речушек и ольшаников, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается капля грусти, может быть, оттого, что каждая встреча с этими местами — вместе с тем и разлука с ними. Нам грустно, что мы не в силах превратить это мимолётное осеннее утро в бесконечный шелест сухого золотого листа, в бесконечный блеск прохладных озёр, в бесконечный хоровод лёгких, как дым, облаков.

С крутого песчаного холма открылась внизу пойма неизвестной реки. За ней подымались в небо сосновые боры, кремли дремучих лесов. На их краю виднелась деревня и стояла во мгле, как видение, очень высокая, почерневшая от времени деревянная церковь.

Туман лежал в пойме синеватой водой. Только вершины стогов темнели над ним маленькими островами.

Мы медлили. Никому не хотелось двигаться. Деревня за рекой ещё спала. Ни один дымок не подымался над крышами. Не было слышно ни мычания коров, ни петушиных криков. Казалось, перед нами лежала в глубокой своей тишине заколдованная земля. Вот такими, должно быть, представляли себе наши пращуры бревенчатые погосты из своих крестьянских сказок, те погосты, где годами сидели за пряжей печальные красивые девушки и дожидались любимых.

Медленно поднялось солнце,— размытое, цвета соломы. На краю деревни протяжно запел пастуший рожок. Заколдованный край просыпался.

Мы вскинули рюкзаки и пошли через росистую равнину к деревне. Сладко пахло багульником. И всё пел и пел, приближаясь к нам, пастуший рожок.

На околице мы встретили пастуха. Он гнал стадо коров. У каждой коровы бренчал на шее медный «болгун».

— Вот это дело! — воскликнул пастух, снял шапку и поклонился. — Спасибо, друзья, что ружья с собой захватили. Жизни от волков нет. Почитай, каждый день телков режут. Охотники в наш край редко заглядывают.

— Это почему же?

— Глушняк, мшары. Добраться до нас затруднительно. Мы последние. Дальше деревень нет на сто километров. Один лес.

— Какая это деревня?

— Называется она по-разному. По-новому — Гришино, а по-старому — Заводской Посад. Тут при государе Петре был железный завод.

Гришино оказалось обыкновенной деревней. Так, очевидно, о ней было бы сказано в любом описании. Но в этой её обыкновенности была спокойная и знакомая прелесть: в резных наличниках на оконцах, в высоких крылечках, в ягодах калины над частоколами, в старых брёвнах, сваленных у каждых ворот, в сварливых огненных петухах, в серых глазах женщин — то строгих, то застенчивых, то ласковых, в осторожной походке хозяек, когда они несут на коромыслах полные вёдра, в кудрявой герани, расцветающей из банок тушёнки, в ребятах с волосами, выгоревшими до цвета пеньки.

В конце деревни, в уличке, заросшей по твёрдому белому песку чистой травой, стояла одинокая изба вся в цветах. На крылечке сидел рыжий кот с такими зелёными мрачными глазами, что на них нельзя было долго смотреть. Тотчас за изгородью струилась река с водой цвета крепкого чая. Это была Пра.

Я посмотрел на избу, и у меня сжалось сердце, — так всегда бывает, когда увидишь то, о чём думал много лет. А думал я о том, чтобы поселиться в такой вот чистой избе, в лесном пустынном краю, поселиться надолго и спокойно работать. Только так, мне казалось, могут быть написаны настоящие вещи — неторопливо, обдуманно, в полную меру сил.

Мы поднялись на крылечко избы, постучали в оконце. Открыла нам пожилая женщина в белой косынке.

— Пожалуйте в горницу, — приветливо сказала она, не спрашивая, кто мы и зачем к ней постучались. — Я в окошко вас приметила. Гляжу, охотники идут, видать,

Московские, весёлые, образованные. Мы с Алёшей прохожим всегда радуемся. Прохожий человек у нас редок.

В горинце было чисто, сухо. Цветы стояли не только на подоконниках, но и на полу и ярко цвели; им было хорошо, должно быть, в этой тёплой светлой избе.

— Сейчас Алёша взойдёт, он умывается,— сказала женщина.— Двое их у меня, ребят. Алёша да Катя. Алёша —председателем сельсовета, а Катя работает на ватной фабрике под Клепиками. Небось проходили мимо. Там дорога старой ватой уложена. Где болотце, там шофёры старую вату под колёса подкладывают, чтобы машине было легче пройти.

Мы вспомнили, что и вправду шли ночью по странной упругой дороге.

— Это вата и есть!— засмеялась женщина.— Вам невдомёк... А вот и он, мой Алёша.

В горницу вошёл юноша в кителе с ленточками орденов, в защитных брюках навыпуск и жёлтых туфлях. Что-то неуловимо изящное было в его движениях, во всём облике. Здороваясь, он наклонил голову с русыми, медного отлива волосами, потом выпрямился, и мы увидели его глаза, совершенно синие и смущённые.

Было что-то знакомое в этом лице. Казалось, что я давно его видел, давно знаю, пока я не сообразил, что Алёша очень похож на Есенина. Я сказал ему об этом. Он усмехнулся:

— Возможно. Мы ведь с ним земляки: оба рязанские. Меня на фронте так и прозвали: «Алёша Есенин».

— А вы любите есенинские стихи?

— Не все. Иные вещи люблю. Например, про «серенький ситец наших северных скромных небес».

Так в деревенской глуши завязался разговор о поэзии с председателем сельсовета Алексеем Софроновым. Потом заговорили о лесах, гришинском колхозе, обо всём этом крае.

— Колхоз у нас богатый,— сказала старуха.— Видали коров? Сытые, молочные. Ярославки. Тут пастбища густые, медоносные. У нас и артель работает. Алёша её основал. Дуги делают, колёса, бочонки, ульи. Край обильный! Одних грибов сколько! Здесь их не то что собирать — косить можно. Верное слово!

— Да,— заметил Алёша,— край удивительный. Сюда безнаказанно приезжать нельзя.

— А что?

— Да ничего... Увидите сами. Он вам долго ещё будет сниться в Москве, этот край. Я здесь вырос, да вот до сих пор не привык.

— К такой прелести разве привыкнешь! — тотчас согласилась Алёшина мать.

В горницу торопливо вошла с крылечка суетливая старушка в панёве, остановилась у порога, быстро вытерла рот сморщенным кулачком.

— О господи! — запела она плачущим голосом. — Добрым людям гостей бог посылает, а я к тебе, Лёша, со своей нудой да бедой.

— Что случилось, бабка Настасья?

— Взял бы ты ремень да выпорол моего Саньку. Я с ним совладать не в силе, мне уже восьмой десяток пошёл. Да и грех мне, старухе, малого пороть, хоть он мне и внук.

— За что же его пороть? — спросил Алёша и усмехнулся.

— Как за что? Я, милый, законы хорошо-о знаю. Они недаром писаны. Есть такой закон, чтобы престарелым людям воспомоществование оказывать? Есть! Даже в песне поётся: «Старики везде у нас в почёте». Сама слыхала, ей-богу! А он чего делает, Санька! На самой заре встанешь и топчешься-топчешься по избе: и воды надо принесть, и печь растопить, и веником пол подмахнуть, и курам пшена подсыпать, и то, и сё. Верчение такое, спаси господь! И всё я одна. А он, как скинул ноги с кровати, выхлебал баночку молока — только я его и видела, вихрастого. Зальётся, враг его расшиби, на цельный день на выгон, кожаный шар ногами гонять. И кто его только выдумал, тот футбол проклятый! Бьют и бьют от зари до зари, подмётки себе начисто поотбивали. Носятся как оглашенные, и все не то кричат, не то лают: гол да гол! А чему радоваться, ежели человек, скажем, гол как сокол! Нет того, чтобы бабке помочь, а всё — гол да гол!

— Это верно, — согласился Алёша. — Крепко наши мальчишки взялись за футбол. Мы их маленько приструним.

— А надысь, как попали шаром по избе, — ой, какой стра-ах! Вся изба затряслась, затрепетала, а кочеток в сенцах как крикнет дурным голосом, как взовьётся да головой трах об стреху! Упал, глаза закатил. Я его водой отливала; чуть было не помер в одночасье

мой кочеток. Сам посуди: как не испугаться? Тут и человек сомлеет насмерть, не то что животная тварь. Значит, приструнишь?

— Не беспокойся.

— Ну, спасибо!

Старушка низко поклонилась, вышла на улицу и тотчас за порогом закричала, поспешая к своей избе:

— Санька! Подь сюда! Я те покажу, как футболом займаться, лодырь ты этакий!

Мы посмеялись над горем бабки Настасьи и распрощались с хозяевами. Алёша проводил нас до мостков через Пру и сказал, чтобы мы непременно шли на двести семьдесят третий лесной кордон: места там замечательные.

За Прой мы поднялись на песчаный изволок и вошли в лес. Он встретил нас сыроватой тишиной, синью и блеском неба над вершинами. Ветра не было. Лимонницы летали над полянами.

Чем дальше, тем лес делался глуше, торжественнее, сумрачнее. Неожиданно под обрывом блеснула вода — старица Пры, заросшая последними белыми лилиями и водяной гречихой. За ней лесная дорога уходила вверх широким поворотом, пересечённым тёплыми полосами света.

Постепенно слух привык к тишине, и мы начали различать неясное курлыканье журавлей, стук дровосека-дятла.

Мы знали, что где-то здесь, вблизи дороги на кордон, есть глубокое озеро Шуя. Каждую низину в лесу, заросшую непролазным тёмным ольшанником, мы принимали за берега этого озера. Но оно открылось неожиданно под крутым холмом между сосен, окружённое порослью молодых осин и старой, чёрной ольхи.

Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой, оно отражало весь этот синий и мглистый, струящийся день, всю его глубину и свежесть. Каждый куст остролиста, белые, почти прозрачные цветы водокраса, коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, стан мальков, уткнувшихся носами в подводные корни,— всё это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскрываются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бу-

рый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком, кореластый гриб боровик.

Тень от нависших деревьев падала на воду. Вода в тени казалась необыкновенно глубокой, чёрной. Палый лист осины лежал на этой воде, как драгоценность, небрежно брошенная юной осенью. Осень была совсем ещё молодая, ещё в самом начале своей недолгой жизни.

Если бы можно было замедлить ход времени, чтобы долго голубел над озером этот тихий свет и этот удивительный день, чтобы можно было долго следить за тенью птиц на воде, за едва приметным блеском, подымавшимся к небу!

Сразу стало понятным значение слова «совершенство». И вместе с тем началось лёгкое сожаление. О чём? О том, что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня, этих вод, трав, великой тишины, как и всё очарование того, что творится сейчас в его душе. И ещё подымалась досада на то, что всё это ты видишь только один, тогда как это должны бы видеть все любимые и милые люди. Когда человек счастлив, он щедр, он стремится быть проводником по прекрасному. Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что восторг не терпит никаких возгласов и внешнего выражения.

На поляне вблизи озера стояла скамейка, сколоченная из берёзовых жердей. Рядом с ней на шестке была прибита табличка: «Место для курения». Внизу было написано карандашом: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик *Алексей Желтов*».

Вокруг скамейки, сколько бы мы ни смотрели, валялся только один побуревший окурок — так безлюдна была эта дорога. И тем трогательнее показалась эта забота о лесе в тех местах, где, быть может, за неделю пройдут два-три человека. Дорога, судя по карте, терялась километрах в пяти, в чащах за озером Линевым.

Кордон стоял на бугре над тихой заводью Пры. На крыше его был приколочен дощатый щит с чёрным номером по белому полю — «273». По этому номеру определялись самолёты, пролетавшие над лесами.

Лесник Алексей Желтов, обветренный старик в выгоревшей зелёной фуражке со значком объездчика на

околыше — двумя медными дубовыми листочками, сидел на лавочке около избы и читал газету, как бы не видя нас, пятерых человек, медленно подходивших к кордону.

Это была явная хитрость. Он нас давно уже заметил в окошко и нарочно вышел с газетой на порог. Всем своим видом Алексей Желтов (он же «дядя Лёша») хотел показать, что прохожие люди здесь не в диковинку и что он, как человек обходительный и повидавший в жизни всякие виды, совершенно не любопытствует, кто мы, зачем пришли и куда направляемся.

Разговор, начавшийся с дядей Лёшей, был уже нам знаком — хитрый разговор, сбивающий с толку неопытных горожан.

Поговорили о засухе, о том, что где-то — надо думать, в стороне Криуши — горит лес, об урожае, новостях из газеты, ярмарке в Клепиках, но ни слова о ночлеге и о том, кто мы такие. Об этом полагалось заводить расспросы не сразу, помедлив,— таков был нерушимый обычай в этих местах.

Поговорили, напились воды из родника под сосной, похвалили воду, покурили, и только тогда разговор перешёл к главному: можно ли поселиться на несколько дней в избе у дяди Лёши и согласится ли его старуха нам готовить?

— Сеновал большой, сена много, живите сколько хотите. Я всегда гостям рад. А вот насчёт пропитания — это дело не моё. Надо спросить мою старуху, бабку Аришу. Уж и не знаю, согласится ай нет. Дело её, хозяйское. Пожалуйте в избу, там и рассудим.

Бабка Ариша, сухая, маленькая старуха с чёрным строгим лицом, конечно, сказала, что упаси бог, как это можно готовить на пятерых человек! Совсем это немыслимое дело! А вдруг она не угодит как в запрошлый год не угодила лесничему. Сварила уху, а он сказал, что больно жирная. Может, и посмеялся над ней, а она этого до сих пор не забыла. Это для хозяйки обидно. Самовар — дело пустое. А вот кулеш, бог его знает, как сготовишь. Видать, люди городские, балованные, а у неё кулеш хоть и густой, да простой.

На все наши уговоры бабка упрямо отвечала:

— Да уж и не знаю, как быть ...

Потом она неожиданно всполошилась:

— А чего ж вы мешки ваши да ружья у порога

кинули? Несите в избу. Ты что сидишь? К лёгкому табаку пристраиваешься? — прикрикнула она на старика. — Вещи подсоби внести. Люди притомились, всю ночь шли. Тебе только бы дорваться до разговору. Поживут у нас подольше — успеешь языком намолоть.

Она начала торопливо вытирать дощатый стол.

— Я сейчас вам молочка пока что принесу. Какого хотите: утреннего или вечернего? Самовар раздую, язей зажарю — старик их нынче поймал. А там видно будет.

Обычай был соблюдён, и с этой минуты бабка Ариша засуетилась, захлопотала и начала заботиться о нас, как о родных детях. Глаза её светились лаской и волнением, и она всё повторяла:

— Господи, три года никто не гостил! Спасибо вам, что надумали у нас на кордоне пожить. Вот мои сыны да дочки обрадуются! Они от людей совсем отбились. Я сама в этой глухомани всю жизнь просидела. Дочки у меня славные, красивые! И сыны тоже. Сейчас они в лесу, на обходе. Отцу помогают. У нас обход бесконечный: одному человеку никак не управиться.

Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на Шуе, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий ил. Убитых уток, если они падали в воду, нельзя было достать никаким способом. По берегам Орса приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не провалиться в трясины.

Но больше всего времени мы проводили на Пре. Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра.

Сосновые сухие леса на её берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над её коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удили упористых язей.

Перемытые речной водой и перевеянные ветром песчаные косы поросли мать-и-мачехой и цветами. За всё время мы не видали на этих белых песках ни одного человеческого следа — только следы волков, лосей и птиц.

Заросли вереска и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста, розовой частухи и телореза.

Река шла причудливыми изгибами. Её глухие затоны терялись в сумраке прогретых лесов. Над бегучей водой беспрерывно перелетали с берега на берег сверкающие сизоворонки и стрекозы, а в вышине парили огромные ястребы.

Все доцветало вокруг. Миллионы листьев, стеблей, веток и венчиков преграждали дорогу на каждом шагу, и мы терялись перед этим натиском растительности, останавливались и дышали до боли в лёгких терпким воздухом столетней сосны. Под деревьями лежали слои сухих шишек. В них нога тонула по косточку.

Иногда ветер пробегал по реке с низовьев, из лесистых пространств, оттуда, где горело в осеннем небе спокойное и ещё жаркое солнце. Сердце замирало от мысли, что там, куда струится эта река, почти на двести километров только лес, лес и нет никакого жилья. Лишь кое-где на берегах стоят шалаши смолокуров и тянет по лесу сладковатым дымком тлеющего смолья.

Но удивительнее всего в этих местах был воздух. В нём была полная и совершенная чистота. Эта чистота придавала особую резкость, даже блеск всему, что было окружено этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна среди тёмной хвои очень далеко. Она была как бы выкована из заржавленного железа. Далеко было видно каждую нитку паутины, зелёную шишку в вышине, стебель травы.

Ясность воздуха придавала какую-то необыкновенную силу и первозданность окружающему, особенно по утрам, когда всё было мокро от росы и только голубеющая туманка ещё лежала в низинах.

А среди дня и река и леса играли множеством солнечных пятен — золотых, синих, зелёных и радужных. Потоки света то меркли, то разгорались и превращали заросли в живой, шевелящийся мир листвы. Глаз отдыхал от созерцания могучего и разнообразного зелёного цвета.

Полёт птиц разрезал этот искристый воздух: он звенел от взмахов птичьих крыльев.

Лесные запахи набегали волнами. Подчас трудно было определить эти запахи. В них смешивалось всё: дыхание можжевельника, вереска, воды, брусники, гнилых пней, грибов, кувшинок, а может быть, и самого неба ... Оно было таким глубоким и чистым, что не-

вольно верилось, будто эти воздушные океаны тоже приносят свой запах — озона и ветра, добежавшего сюда от берегов тёплых морей.

Очень трудно подчас передать свои ощущения. Но, пожалуй, вернее всего можно назвать то состояние, которое испытывали все мы, чувством преклонения перед не поддающейся никаким описаниям прелестью родной стороны.

Тургенев говорил о волшебном русском языке. Но он не сказал о том, что волшебство языка родилось из этой волшебной природы и удивительных свойств человека.

А человек был удивителен и в малом и в большом: прост, ясен и доброжелателен. Прост в труде, ясен в своих размышлениях, доброжелателен в отношении к людям. Да не только к людям, а и к каждому доброму зверю, к каждому дереву.

Недаром дядя Лёша всё беспокоился, вздыхал и ждал дождя: уж очень пересохли леса, и как бы от любого пустого случая не вспыхнул пожар.

Когда на третий день лес затянуло с утра серой дождевой дымкой, дядя Лёша радовался и бормотал:

— Дождик-то! А! Хорош дождик! А то лес как трут: того и гляди, сам загорится!

По ночам вокруг кордона трубили лоси, и дядя Лёша сокрушался, что слабовато в этом году трубят, меньше стало лосей, уж очень их режут волки. И решил послать сына в Клепики к тамошним охотникам с просьбой устроить облаву на волков.

К вечеру первого дня вернулись из лесного обхода две дочери и два сына дяди Лёши. Мы застали их, смущённых и взволнованных, когда они умывались на маленьком озерке рядом с избой.

Девушки неистово тёрли мелом и без того ослепительные зубы, а вечером вышли в горницу к чаю в шуршащих праздничных платьях, смуглые, золотоволосые. Даже опущенные ресницы не смогли скрыть блеска их глаз.

Старший сын был сдержан, очень вежлив, говорил с нами о Москве, об «Угрюм-реке» Шишкова (он только что прочёл эту книгу), о своей затаённой и уже осуществившейся мечте: он уезжал на днях во Владимир учиться в лесной техникум. А младший молчал, улыбался и тихонько наигрывал на гармонике.

Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист...

Девушки скоро перестали стесняться. Они сидели за столом, подпершись ладонями, жадно слушали наши разговоры и пристально смотрели на нас туманными радостными глазами. Должно быть, мы казались им пришельцами из большого, смертельно заманчивого мира, куда они рано или поздно всё равно попадут.

Дня через два выяснилось, что дядя Лёша с семьёй не единственные обитатели этой глухой стороны.

Мы ушли далеко вниз по Пре на рыбную ловлю. Ближе к сумеркам на песчаный обрыв над рекой осторожно вышли из леса два маленьких босых мальчика. Они несмело подошли к нам, сказали: «Здравствуйте!» — и быстро сели в траву, чтобы не пугать рыбу.

— Ну как? — шёпотом просипел старший мальчик.— Клюёт?

— Клюёт понемногу.

Мальчики поглядели друг на друга, помолчали, потом старший ткнул младшего в бок, а младший в ответ ткнул старшего. Мальчики немного посидели неподвижно и снова толкнули друг друга.

— Вы откуда взялись?

— С выселок.

— С каких выселок?

— С Жуковских. Это в лесу. За четыре километра от дяди Лёши.

— Сколько же у вас дворов на выселках?

— Два двора и есть.

— А куда вы идёте?

— Да к вам.

— Как так к нам?

Мальчики фыркнули, посмотрели друг на друга и снова толкнули один другого.

— Ты скажи,— прохрипел старший.

— Нет, ты. Ты старший. А я маленький.

— Как так к нам? — снова спросил я.

— Письмо тебе принесли.

Тайна явно сгущалась.

— От кого?

— От охотника. Тоже московский. Он у нас на выселках живёт.

Старший мальчик вытащил из-за пазухи записку и протянул мне. Записка была написана карандашом:

«Узнал о появлении в этих дебрях москвичей. Очень рад и очень прошу пожаловать сегодня вечером ко мне на выселки на кружку чаю». Подпись была незнакомая.

— Как вы нас здесь нашли?

— По следам. Тут недалеко. Мы километров десять всего к вам и бегли.

— Что ж вы сидели полчаса и молчали? И письма не отдавали?

— А мы заробели,— смело признался старший.

После этих слов мальчишки разом встали и побежали в лес. Младший всё оглядывался на бегу и спотыкался.

Вечером мы пошли к таинственному охотнику. Захватили с собой фонарь «летучую мышь».

Ночной туман уже лёг на сырую тропу. Холодная луна поднялась над чащами и поплыла своим вековечным путём. Низко летали совы. Фонарь освещал только землю: корни деревьев, траву, тёмные лужи. Потом впереди появилось маленькое дымное зарево, и мы вышли к двум избам, терявшимся в темноте. Около изб горели костры.

Оказалось, что жители выселок жгут костры всю ночь, чтобы отпугнуть волков.

Нас встретил сухощавый пожилой охотник, настоящий отшельник. Он напоил нас крепким чаем в пустой чёрной избе, куда всё время старался пролезть из сенцев телёнок.

Охотник оказался работником Торфяного института. Несколько лет назад он приезжал в эти места с небольшой экспедицией в поисках новых торфяных массивов, и с тех пор этот край так ему понравился, что он ездит сюда в отпуск каждую осень. Мы были, по словам охотника, первыми москвичами, попавшими, в эти места за последние несколько лет. Как же было не зазвать нас к себе!

Обратно шли ночью. Глухо и жалобно кричала в болотах какая-то птица. Луна клонилась к земле. Ртутный её свет проникал в чащи, где всё трубил, печально звал кого-то лось.

На кордоне горел свет в оконце: нас ждали. Дядя Лёша читал за столом, нацепив железные очки, толстый календарь за 1948 год. А девушки сидели, обнявшись, на скамье около русской печки и тихонько, покачиваясь, напевали:

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни.
Как концы её, с тобою
Мы сходились в эти дни...

Я проснулся на сеновале поздней ночью. Луна зашла. Сквозь щели в тесовой крыше светились звёзды. Далеко, казалось на конце земли, подвывали волки. Хорошо было, зарывшись в тёплое сено, слушать звуки этой речи, представлять себе это полесье, тёмные дороги, быструю и холодную реку, где на берегу крепко спят перевозчики и только дотлевают в тумане угли костра.

Утром мы ушли в Спас-Клепики. Был тихий светлый день. Лесной край уходил в нежную мглу, рядился в прощальный туман. И с переливчатым звоном протянул высоко над нами первый косяк журавлей.

*1948*

## НОЧЬ В ОКТЯБРЕ

По писательскому своему опыту я знаю, что гораздо лучше работать в деревне, чем в городе. В деревне всё помогает сосредоточиться, даже треск фитиля в маленькой керосиновой лампе и шум ветра в саду, а в перерывах между этими звуками — та полная тишина, когда кажется, что земля остановилась и беззвучно висит в мировом пространстве.

Поэтому поздней осенью 1945 года я уехал работать в деревню, за Рязань. Там была усадьба со старым домом и совершенно заглохшим садом. В усадьбе жила старушка Василиса Ионовна — бывшая рязанская библиотекарша. В эту усадьбу я приезжал работать и раньше. И каждый раз, приезжая, я замечал, как разрастается сад и как старятся дом и его хозяйка.

Из Москвы я выехал последним пароходом. Рыжие берега тянулись за окнами каюты. На берега непрерывно набегали серые волны от пароходных колёс. Всю ночь в салоне горела красным накалом дежурная лампочка. Мне всё казалось, что на пароходе я совершенно один, — пассажиры почти не выходили из тёплых кают. Только хромой капитан сапёр с обветренным лицом бродил по палубе и смотрел, улыбаясь, на берега. Они

были готовы к зиме: листва давно осыпалась, трава полегла, ботва почернела, а над избами прибрежных деревень курился белый дымок — всюду уже топили печи. И река была готова к зиме. Почти все пристани убраны в затоны, бакены сняты, и ночью пароход мог идти только потому, что над землёй лежала серая лунная мгла.

На пароходе я разговорился с капитаном сапёром, и мы оба обрадовались. Оказалось, что капитан Зуев тоже сходит в Новосёлках и что ему, так же как и мне, придётся переправляться на лодке на другой берег Оки и идти через луга до той же деревни Заборье, что и мне. В Новосёлки пароход должен был прийти вечером.

— Я-то иду не в Заборье,— сказал капитан,— а подальше, в лесничество, но до Заборья нам по пути. Я хоть и с фронта и всего навидался, а одному всё же скучно идти ночью через тамошнюю глухомань. До войны я лесничествовал, а теперь демобилизовался, возвращаюсь на старое место. Чудесное дело — леса! Я лесовод по образованию. Приезжайте ко мне. Я вам такие места покажу, что вы ахнете. На фронте я эти места почти каждую ночь видел во сне.

Он засмеялся, и от этого его лицо сразу помолодело на несколько лет.

Когда глухим вечером пароход подвалил к Новосёлкам, на пристани никого не было, кроме сторожа с фонарём. Сошло нас двое — Зуев и я. Едва мы соскочили на сырой настил со своими рюкзаками, как пароход отошёл, обдав нас мятым паром. Сторож с фонарём тотчас ушёл, и мы остались одни.

— Давайте не будем торопиться,— сказал Зуев.— Посидим на брёвнах, покурим, сообразим, что делать дальше.

По голосу его, по тому, как он вдыхал запах речной воды, оглядывался по сторонам и засмеялся, когда пароход дал за поворотом короткий гудок и ночное эхо начало перекатывать этот гудок всё дальше, пока не занесло в заокские леса,— по всему этому я понял, что Зуев не хочет торопиться только потому, что с необыкновенной и какой-то изумлённой радостью ощущает себя в привычных местах, куда он не надеялся возвратиться.

Мы покурили, потом поднялись на крутой берег к сторожке бакенщика Софрона. Я постучал в окошко.

Софрон тотчас вышел, будто он и не спал, узнал меня, поздоровался, сказал:

— Вода ноне прибывает. За сутки два метра. Должно, наверху дождн. Не слыхал?

— Нет, не слыхал.

Софрон зевнул.

—Дело осеннее. Ну, что ж, поехали?

Ока ночью казалась очень широкой, гораздо шире, чем днём. Вода шла сильно, во весь размах реки. Всплескнвала рыба. В мутноватом свете ночи было видно, как круги от всплесков стремнтельно уносятся течением, растягиваясь и разрываясь.

На том берегу мы вышли. Из лугов тянуло холодной завялой травой, сладковатым запахом ивовых лнстьев. Мы пошли по чуть заметной тропинке, вышли на сенокосную дорогу. Было тихо. Луна опускалась к земле,— свет её уже потускнел.

Мы должны были пересечь луговой остров шириной в шесть километров, потом перейти по старому мосту через второе — тихое н заглохшее — русло Оки, а за ним, за песками, уже лежало Заборье.

— Узнаю,— говорил, волнуясь, капитан.— Всё узнаю. Оказывается, я ничего не забыл. Вон — купы деревьев! Это ивы на Прорве. Верно? Вот видите? Глядите, какой туман над Селянским озером! И ни одной птицы не слышно. Опоздал я, конечно,— улетели уже птицы. А воздух! Какой воздух, мать моя родная! Настоялся на травах за всю эту осень. Я таким воздухом нигде не дышал, кроме как в нашнх местах. Слышите, петухи заголосили? Это в Требутине. Вот звонкие, черти! За четыре километра слышно!

Но чем дальше мы шли, тем меньше говорнли, а потом и совсем замолчали. Сумрачная ночь лежала над заводями, над чёрными стогами, над зарослями. Молчанне этой ночи передалось и нам.

По правую руку потянулось заросшее озеро. Вода в нём отсвечивала. Зуеву было трудно идтн из-за его хромоты. Мы селн отдохнуть на поваленную ветром иву. Я хорошо знал эту иву,— она лежала здесь уже несколько лет и вся заросла низким шиповником. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Да, жизнь!— вздохнул Зуев.— Хорошая, в общем, жизнь. Очень я её ощущаю после войны. Особенно както ощущаю. Смейтесь или нет, как хотите, а я теперь

готов всю жизнь выращивать какую-нибудь сосну. Верно! Глупо это, по-вашему? Или нет?

— Наоборот,— сказал я.— Совсем не глупо. У вас есть семья?

— Нет, я бобыль.

Мы пошли дальше. Луна зашла за высокий берег Оки. До рассвета было далеко. На востоке ещё лежала такая же плотная тьма, как и всюду. Идти стало трудней.

— Одного не пойму,— сказал Зуев.— Почему лошадей перестали гонять в ночное? Раньше до самого снега гоняли. А сейчас в лугах ни одной коняги.

Я тоже заметил это, но не придал этому значения. Вокруг было так пустынно, что кроме нас, на луговом острове, казалось, не было больше ничего живого.

Потом я увидел впереди неясную и широкую полосу воды. Её раньше здесь не было. Я всмотрелся, и у меня замерло сердце,— неужели так разлилось старое русло Оки!

— Скоро мост,— весело сказал Зуев,— а там и Заборье. Можно сказать, пришли.

Мы подошли к берегу старого русла. Дорога срывалась прямо в чёрную воду. Она неслась у самых наших ног и подмывала низкий берег. То тут, то там был слышен тяжёлый плеск,— это обрушивались куски подмытого берега.

— Где же мост? — спросил встревоженно Зуев.

Моста не было. Его или смыло, или затопило, и вода уже шла над ним толщей в полтора-два метра. Зуев зажёг электрический фонарик, посветил. Из-под мутных волн торчали, качаясь, верхушки кустов.

— Так-так!— сказал озадаченно Зуев.— Отрезало нас. Водой. То-то я смотрю, что в лугах пусто. Похоже, что мы с вами здесь одни. Давайте сообразим, что делать.

Он помолчал.

— Покричать, что ли?

Но кричать было бесполезно. До Заборья было ещё далеко. Нас всё равно никто не услышит. Кроме того, я знал, что в Заборье не было ни одной лодки, чтобы снять нас с острова. Перевоз на остров устроен гораздо ниже, в двух километрах, у Пустынского леса.

— Придётся идти на перевоз,— сказал я.— Конечно.

— Что «конечно»?

— Да ничего. Дорогу я знаю.

Я хотел сказать: «Конечно, если перевоз ещё работает»,— но промолчал. Если в лугах никого уже нет и их заливает осенним разливом, то и перевоз, естественно, снят. Не будет перевозчик Василий, строгий и рассудительный, сидеть зря в шалаше.

— Ну, что ж!— согласился Зуев.— Пойдёмте. Ночь как потемнела, окаянная!

Он снова посветил и выругался,— вода уже закрыла верхушки кустов.

— Дело серьёзное — пробормотал Зуев.— Идёмте скорей!

Мы пошли к перевозу. Сорвался ветер. Он медленно, гудя, налетал из темноты и нёс вкось над землёй снеговую крупу. Всё чаще было слышно, как оседает берег. Мы шли, спотыкаясь о кочки и старую траву. По дороге лежало два небольших оврага — всегда сухих. Мы перешли эти овраги уже по колено в воде.

— Заливает овраги,— сказал Зуев.— Как бы мы с вами не влипли. Почему так быстро подымается вода! Непонятно.

Даже во время сильных осенних дождей вода никогда не подымалась так быстро и не заливала остров.

— А деревьев здесь нет,— заметил Зуев.— Одни кусты.

На острове как раз против перевоза была наезженная дорога. Мы узнали её по грязи и по запаху навоза. По ту сторону старого русла на высоком берегу тяжело гудел под ветром сосновый лес.

Чем дальше тянулась ночь, тем становилось кромешнее и холоднее. Шипела вода. Зуев снова посветил фонарём. Вода шла в уровень с берегом и узкими языками уже заполаскивала в луга.

— Перево-оз!— закричал Зуев и прислушался.— Перево-оз!

Никто не откликнулся. Гудел лес.

Мы кричали долго, до хрипоты, но никто нам не отвечал. Снеговая крупа сменилась дождём. Редкие его капли начали тяжело стучать по земле.

Мы снова начали кричать. В ответ всё так же равнодушно гудел лес.

— Нет перевозчика!— сказал с сердцем Зуев.— Ясно! И какого, скажите, лешего ему здесь сидеть, ес-

ли остров заливает и на нём нет и не может быть ни души. Глупо... в двух шагах от родного дома...

Я понимал, что выручить нас может только случайность,— или вода внезапно перестанет прибывать, или мы наткнёмся на этом берегу на брошенную лодку. Но страшнее всего было то, что мы не знали и не могли понять, почему так быстро прибывает вода. Дико было думать, что час назад ничего не предвещало этой чёрной ночной беды,— к ней мы сами пришли навстречу.

— Пойдёмте по берегу,— сказал я.— Может быть, наткнёмся на лодку.

Мы пошли вдоль берега, обходя затопленные низинки. Зуев светил фонариком, но свет его всё тускнел, и Зуев его погасил, чтобы сберечь на крайний случай последний проблеск огня.

Я наткнулся на что-то тёмное и мягкое. Это был небольшой стог соломы. Зуев зажёг спичку и сунул её в солому. Стог вспыхнул багровым мрачным огнём. Огонь осветил мутную воду и уже затопленные впереди, сколько видит глаз, луга и даже сосновый лес на противоположном берегу. Лес качался и равнодушно шумел.

Мы стояли у горящего стога и смотрели на огонь. В голову приходили бессвязные мысли. Сначала я пожалел о том, что не сделал в жизни и десятой доли того, что собирался сделать. Потом подумал, что глупо пропадать от собственной оплошности, тогда как жизнь обещает впереди много вот таких, хотя и пасмурных и осенних, но свежих и милых дней, когда нет ещё первого снега, но всё уже пахнет этим снегом — и воздух, и вода, и деревья, и даже капустная ботва.

Должно быть, и Зуев думал примерно о том же. Он медленно вытащил из кармана шинели измятую пачку папирос и протянул мне. Мы закурили от догорающей соломы.

— Она сейчас погаснет,— тихо сказал Зуев.— Под ногами уже вода.

Но я ничего не ответил. Я слушал. Сквозь гул леса и плеск воды долетали слабые, отрывистые удары. Они приближались. Я обернулся к реке и закричал:

— Эге-гей! Лодка! Сюда!

Тотчас с реки ответил мальчишеский голос:

— Иду-у!

Зуев быстро разгрёб солому. Вырвалось пламя.

В черноту полетели столбы искр. Зуев начал тихо смеяться.

— Вёсла!— говорил он.— Вёсла стучат. Разве можно пропасть ни за что в нашей родимой сторонке!

Этот ответный крик «иду» особенно меня взволновал. Иду на помощь! Иду сквозь тьму на гаснущий свет костра. Этот крик воскрешал в памяти древние навыки братства, помощи, никогда не умирающие в нашем народе.

— Эй, на песке выходите! Пониже!— звонко крикнул голос с реки, и я вдруг понял, что это кричит женщина.

Мы быстро пошли к берегу. Лодка внезапно выплыла из темноты в мутный свет костра и ткнулась носом в песок.

— Погодите садиться, воду надо отлить,— сказал тот же женский голос.

Женщина вышла на берег и подтянула лодку. Лица её не было видно. Она была в ватнике, в сапогах. Голова её была закутана тёплым платком.

— Как вас только сюда занесло?— строго спросила женщина, не глядя на нас, и начала вычерпывать воду.

Она молча и как будто равнодушно выслушала наш рассказ, потом так же строго сказала:

— Как же бакенщик вам ничего не сказал? Сегодня ночью на реке шлюзы открыли. Перед зимой. К утру весь остров затопит.

— А как вы попали ночью в лес, наша спасительница?— шутливо спросил Зуев.

— Шла на работу,— неохотно ответила женщина.— Из Пустыни в Заборье. Вижу — огонь на острове, люди. Ну вот, догадалась. А перевозчика уже второй день нету, не караулит. Ни к чему. Еле вёсла нашла. Под сеном, в шалаше.

Я сел на вёсла. Я грёб изо всех сил, но мне казалось, что лодка не только не продвигается, но что её сносит к какому-то чёрному широкому водопаду, куда низвергается мутная вода, и тьма, и вся эта ночь.

Наконец мы пристали, вышли на песок, поднялись в лес и только там остановились закурить. В лесу было безветренно, тепло, пахло прелью. Ровный и величавый гул проходил в вышине. Только он напоминал о ненастной ночи и недавней опасности. Но теперь ночь казалась мне удивительной и прекрасной. И приветливым и

знакомым показалось мне лицо молодой женщины, когда мы закурили и свет спички осветил её мимолётным огнём. Серые её глаза смущённо смотрели на нас. Мокрые пряди волос выбивались из-под платка.

— Никак ты, Даша?— вдруг очень тихо спросил Зуев.

— Я, Иван Матвеевич,— ответила женщина и засмеялась лёгким смехом, будто она смеялась чему-то известному только ей одной.— Я вас сразу узнала. Только не признавалась. Мы вас ждали-ждали после победы! Никак не верили, что вы не вернётесь.

— Вот так оно и бывает!— сказал Зуев.— Четыре года воевал, смерть меня, бывало, зажимала так, что дохнуть нельзя, а от смерти спасла меня Даша. Помощница моя,— сказал он мне.— Работала в лесничестве. Учил я её всякой лесной премудрости. Была девочка слабенькая, как стебелёк. А теперь посмотрите, как вытянулась. Какая красавица! И строгая стала, суровая.

— Да что вы! Я не суровая,— ответила Даша.— Это я так, от отвычки. А вы к Василисе Ионовне?— неожиданно спросила Даша меня, очевидно, чтобы переменить разговор.

Я ответил, что да, к Василисе Ионовне, и зазвал Дашу и Зуева к себе. Надо было обогреться, обсохнуть, отдохнуть в тёплом старом доме.

Василиса Ионовна нисколько не удивилась нашему ночному появлению. По старости своей она привыкла ничему не удивляться и всё, что бы ни случилось, толковала по-своему. И теперь, выслушав рассказ о нашем злоключении, она сказала:

— Велик бог земли русской. А про Софрона этого я всегда говорила, что он растяпа. Удивляюсь, как это вы, писатель, сразу его не раскусили! Значит, у вас тоже есть своя слепота на людей. Ну, а за тебя,— сказала она, оборачиваясь к Даше,— я рада. Дождалась ты, наконец, Ивана Матвеевича.

Даша покраснела, сорвалась с места, схватила пустое ведро и выбежала в сад, забыв затворить за собой дверь.

— Куда ты?— всполошилась Василиса Ионовна.

— За водой ... для самовара!— крикнула из-за дверей Даша.

— Не понимаю я нынешних девушек,— сказала Василиса Ионовна, не обращая внимания на то, что

Зуев никак не может зажечь спичку и закурить.— Слова им не скажи, вспыхивают, как костёр. Чудная девушка! Могу сказать — моя отрада.

— Да,— согласился Зуев, справившись, наконец, со спичкой.— Замечательная девушка.

Конечно, Даша уронила ведро в колодец в саду. Я знал, как доставать вёдра из этого колодца. Я доставал ведро шестом. Даша мне помогала. Руки у неё были ледяные от волнения, и она всё повторяла:

— Вот чудачка эта Василиса Ионовна! Вот чудачка!

Ветер разнёс тучи, и над чёрным садом уже сверкало, то сразу разгораясь, то так же сразу тускнея, звёздное небо. Я вытащил ведро. Даша тут же напилась из ведра — влажные её зубы поблёскивали в темноте — и сказала:

— Ох, как же я вернусь в дом, прямо не знаю.

— Ничего, пойдёмте.

Мы вернулись в дом. Там уже горели лампы, стол был накрыт чистой скатертью, и со стены спокойно смотрел из чёрной рамы Тургенев. Это был редкий его портрет, гравированный на стали тончайшей иглой,— гордость Василисы Ионовны.

*1946*

## ИЛЬИНСКИЙ ОМУТ

Людей всегда мучают разнообразные сожаления — большие и малые, серьёзные и смешные.

Что касается меня, то я часто жалею, что не стал ботаником и не знаю всех растений Средней России. Правда, этих растений, по приблизительным подсчётам, чёртова уйма — больше тысячи. Но тем интереснее было бы знать все эти деревья, кустарники и травы со всеми их свойствами.

Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. Действительно, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето — то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства.

Не успеешь опомниться, как уже блёкнет молодость и тускнеют глаза. А между тем ты ещё не увидел и

сотой доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг.

Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. Наоборот, по ночам они разгораются. И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. Наряду с самым сильным сожалением о быстротечности времени есть ещё одно, липкое, как сосновая смола. Это — сожаление о том, что не удалось — да, пожалуй, и не удастся — увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном разнообразии.

Да что там — весь мир! На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья.

Я, например, не видел Байкала, острова Валаама, усадьбы Лермонтова в Тарханах, широкого монотонного разлива Оби в её устье, около городка Салехарда — бывшего Обдорска.

Самое это название — Обдорск — вызывает представление о чём-то скудном, о безлюдной северной земле, что погружена в величавое уныние и тонет в водянистой мгле.

Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно много. Всё зависит от пытливости и от остроты глаза. Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и красок,— вплоть до множества оттенков совершенно разного зелёного цвета в листьях бузины или в листьях черёмухи, липы или ольхи. Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони — с их нежной припухлостью между тоненьких жилок.

Одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето.

Я думаю, что слово «великий» применимо не только к событиям и людям, но и к некоторым местностям нашей страны, России.

Мы не любим пафоса, очевидно, потому, что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы пережимаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем

многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородина», а «великие поля Бородина», как в старину, не стесняясь, говорили: «Великое солнце Аустерлица».

Величие событий накладывает, конечно, свой отблеск на пейзаж. На полях Бородина мы чувствуем особую торжественность природы и слышим её звенящую тишину. Она вернулась сюда после кровавых боёв последней войны и с тех пор никто её не нарушал.

То место, о котором я хочу рассказать, называется скромно, как и многие великолепные места в России: Ильинский омут.

Для меня это название звучит не хуже, чем Бежин луг или Золотой Плёс около Кинешмы.

Оно не связано ни с какими историческими событиями или знаменитыми людьми, а просто выражает сущность русской природы. В этом отношении оно, как принято говорить, «типично» и даже «классично».

Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. Если бы не опасение, что меня изругают за слащавость, я сказал бы об этих местах, что они благостны, успокоительны и что в них есть нечто священное.

Имел же Пушкин право говорить о «священном сумраке» царскосельских садов. Не потому, конечно, что они освящены какими-либо событиями из «священной истории», а потому, что он относился к ним, как к святыне.

Такие места наполняют нас душевной лёгкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой.

К Ильинскому омуту надо спускаться по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорей дойти до воды, всё равно на спуске вы несколько раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали по ту сторону реки.

Поверьте мне,— я много видел просторов под любыми широтами, но такой богатой дали, как на Ильинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу.

Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего мира и вместе с тем странное желание: если уж суждено умереть, то только здесь, на слабом этом солнечном припёке, среди этой высокой травы.

Кажется, что цветы и травы — цикорий, кашка, не-

забудки и таволга — приветливо улыбаются вам, прохожим людям, покачиваясь оттого, что на них всё время садятся тяжёлые шмели и пчёлы и озабоченно сосут жидкий пахучий мёд.

Но не в этих травах и цветах, не в кряжистых вязах и шелестящих ракитах была заключена главная прелесть этих мест.

Она была в открытом для взора размахе величественных далей. Они подымались ступенями и порогами одна за другой.

И каждая даль — я насчитал их шесть — была выдержана, как говорят художники, в своём цвете, в своём освещении и воздухе.

Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты Средней России и развернул в широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму.

На первом плане зеленел и пестрел цветами сухой луг — суходол. Среди густой травы подымались то тут, то там высокие и узкие, как факелы, цветы конского щавеля. У них был цвет густого красного вина.

Внизу за суходолом виднелась пойма реки, вся в зарослях бледно-розовой таволги. Она уже отцветала, и над глухими тёмными омутами кружились груды её сухих лепестков.

На втором плане за рекой стояли, как шары серо-зелёного дыма, вековые ивы и ракиты. Их обливал зной. Листья висели, как в летаргии, пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их кверху изнанкой. Тогда всё прибрежное царство ив и ракит превращалось в бурлящий водопад листвы.

На реке было много мелких перекатов. Вода струилась по каменистому дну живым журчащим блеском. От неё медленно расплывались концентрическими кругами волны речной свежести.

Дальше на третьем плане, подымались к высокому горизонту леса. Они казались отсюда совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваленные великанами. Приглядевшись, можно было по теням и разным оттенкам цвета догадаться, где сквозь леса проходят просеки и просёлочные дороги, а где скрывается бездонный провал. В провале этом, конечно, пряталось заколдованное озеро с тёмно-оливковой хвойной водой.

Над лесами всё время настойчиво парили коршуны. И день парил, предвещая грозу.

Леса кое-где расступались. В этих разрывах открывались поля зрелой ржи, гречихи и пшеницы. Они лежали разноцветными платами, плавно подымаясь к последнему пределу земли, теряясь во мгле — постоянной спутнице отдалённых пространств.

В этой мгле поблёскивали тусклой медью хлеба. Они созрели, налились, и сухой их шелест, бесконечный шорох колосьев непрерывно бежал из одной дали в соседнюю даль, как величавая музыка урожая.

А там, за хлебами, лежали, прикорнув к земле, сотни деревень. Они были разбросаны до самой нашей западной границы. От них долетал — так, по крайней мере, казалось — запах только что испечённого ржаного хлеба, исконный и приветливый запах русской деревни. Над последним планом висела сизоватая дымка. Она протянулась по горизонту над самой землёй. В ней что-то слабо вспыхивало, будто загорались и гасли мелкие осколки слюды. От этих осколков дымка мерцала и шевелилась. А над ней в небе, побледневшем от зноя, светились, проплывая, лебединые торжественные облака.

Однажды летом я жил в степях за Воронежем. Все дни я проводил или в одичалом парке, или на мельнице-ветряке, стоявшей на сухом кургане.

Вокруг ветряка росло много шершавого лилового бессмертника. Тесовая крыша ветряка была наполовину сорвана воздушной волной в те дни, когда к Воронежу подходили немцы.

В отверстие крыши было видно небо. Я ложился на глиняный тёплый пол мельницы и читал романы Эртеля или просто смотрел на небо в отверстие над моей головой.

В нём непрерывно возникали всё новые очень белые и выпуклые облака и медленной чредой уплывали на север.

Тихое сияние этих облаков достигало земли, проходило по моему лицу, и я закрывал глаза, чтобы уберечь их от яркого света. Я растирал на ладони венчик чабреца и с наслаждением вдыхал его запах — сухой, целебный и южный. И мне чудилось, что рядом, за ветряком, уже открылось море и что пахнут чабрецом не степи, а его наглаженные прибоями пески.

Иногда я задрёмывал около жерновов. Высеченные из розового песчаника жернова переносили мою мысль ко временам Эллады.

Несколько лет спустя я увидел статую египетской царицы Нефертити, высеченную из такого же камня, как и жернова. Я был поражён женственностью и нежностью, какая заключалась в этом грубом песчанике. Гениальный ваятель извлёк из сердцевины камня дивную голову трепетной и ласковой молодой женщины и подарил её векам, подарил её нам, своим далёким потомкам, так же, как и он, взыскующим нетленной красоты.

А два года спустя я увидел во Франции, в Провансе знаменитую мельницу писателя Альфонса Доде. Когда-то он устроил в ней своё жилище.

Очевидно, жизнь на ветряной мельнице, пропахшей мукой и старыми травами, была удивительно хороша. Особенно на нашей воронежской мельнице, а не на мельнице Альфонса Доде. Потому что Доде жил в каменной мельнице, а наша была деревянная, полная милых запахов смолы, хлеба и повилики, полная степных поветрий, света облаков, перелива жаворонков и цвиканья каких-то маленьких птичек — не то овсянок, не то корольков.

Но на Ильинском омуте не было, к сожалению, ни ветряной, ни водяной мельницы. И это очень жаль, потому что ничто так не идёт к русскому пейзажу, как эти мельницы. Так же, как русской крестьянской девушке очень идёт цветистая, шёлковая шаль. От неё глаза становятся темней, губы — ярче и даже голос звучит вкрадчиво и нежно.

На самом дальнем плане, на границе между тусклыми волнами овса и ржи стоял на меже узловатый вяз. Он шумел от порывов ветра тёмной листвой.

Мне всё казалось, что вяз неспроста стоит среди этих горячих полей. Может быть, он охраняет какую-то тайну — такую же древнюю, как человеческий череп, вымытый недавно ливнем из соседнего оврага. Череп был тёмно-коричневый. От лба до темени он был рассечён мечом. Должно быть, он лежал в земле со времён татарского нашествия. И слышал, должно быть, как кликал див, как брехали на кровавое закатное солнце лисицы и как медленно скрипели по степным шляхам колёса скифских телег-колесниц.

Я часто ходил не только к ветряку, но и к этому вязу, и подолгу просиживал в его тени.

Скромная невысокая кашка росла на меже. Старый сердитый шмель грозно налетал на меня, стараясь прогнать человека из своих пустынных владений.

Я сидел в тени вяза, лениво собирал цветы и травы, и в сердце подымалась какая-то родственная любовь к каждому колоску.

Я думал, что все эти доверчивые стебли и травы, конечно же, мои безмолвные друзья, что мне спокойно и радостно видеть их каждый день и жить с ними в этой тихой степи под свободным небом.

За Ильинским омутом была видна в отдалении зелёная стена. То был лес на правом берегу Оки. Далеко за этим лесом пряталась усадьба Богимово, чернел старый парк и стоял господский дом с террасой и венецианскими окнами.

В этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров Сахалин» и «Дом с мезонином» — бесконечно грустный рассказ о любви и милой девушке Мисюсь.

Мисюсь уехала из этих мест навсегда, но чеховская грусть осталась. Она живёт в глубине сыроватых аллей, в пустых комнатах большого дома, где ночные бабочки спят на пыльных оконных стёклах. Если вы прикоснётесь к этой бабочке, то увидите, что она мертва.

Пруд застлан огромным зелёным ковром ряски. Потомки тех карасей, которых здесь удил Чехов, тихонько чавкают, поедая водоросли и подставляя солнцу то один, то другой бок из литого тёмного золота.

Но Чехова нет. В год его смерти мне было двенадцать лет. Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась голова, когда ему сказали, что умер Чехов. И как он быстро отвернулся и ушёл, чтобы пережить в одиночестве своё непоправимое, безнадёжное горе.

Никого из русских писателей, кроме Пушкина и Толстого, не оплакивали с такой тоской и болью, как Чехова. Потому что он был не только гениальным писателем, но и совершенно родным человеком.

Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и счастью, и оставил нам все приметы этой дороги.

Трудно объяснить, откуда берутся привычки, и притом неожиданные.

Каждый раз, собираясь в далёкие поездки, я обязательно приходил на Ильинский омут. Я просто не мог уехать, не попрощавшись с ним, со знакомыми вётлами, со всероссийскими этими полями. Я говорил себе: «Вот этот чертополох ты вспомнишь когда-нибудь, когда будешь пролетать над Средиземным морем. Если, конечно, туда попадёшь. А этот последний, рассеянный в небесном пространстве розовеющий луч солнца ты вспомнишь где-нибудь под Парижем. Но конечно, если и туда ты попадёшь».

И всё сбылось. Действительно, самолёт шёл над Тирренским морем. Я посмотрел в круглое окно-иллюминатор. В бездонной синеве и глубине появились жёлтые очертания острова, похожего на цветок чертополоха. Это была Корсика.

Потом я убедился, что острова с воздуха принимают причудливые формы, так же как и кучевые облака. Эти формы им сообщает наше человеческое воображение.

Изорванные многими тысячелетиями, покрытые окалиной жары берега Корсики, её замки, защищавшие остров, как колючки, алый цвет каких-то кустарников, ливень синего средиземноморского света, прорвавшего невидимую небесную плотину и рухнувшего всей своей тяжестью на остров,— всё это не могло оторвать мои мысли от маленькой сыроватой ложбины на Ильинском омуте, где пахло болиголовом и стоял одинокий чертополох высотой в человеческий рост,— неприступный, ощетинившийся своими колючками, своими острыми налокотниками и забралами.

На западном берегу острова горстью выброшенных небрежной рукой игральных костей был рассыпан маленький город. Он выходил из-под крыла самолёта, как пчелиные соты. Это было Аяччо — родина Наполеона.

— Все завоеватели — клинические сумасшедшие,— сказал, поглядев на Аяччо, мой сосед — толстый и шутливый итальянец в чёрных очках.— Как только человек, родившийся и выросший среди такой красоты, стал мировым убийцей! Невозможно понять!

Он с шумом развернул газету, просмотрел одну страницу, отбросил газету в сторону и сказал, ни к кому не обращаясь:

— О-хо-хо! А де Голль, кажется, неплохой католик.

Рим сверкал вдали яростными отражениями солнца в стеклянных стенах многоэтажных новых домов. Радио часто и нервно повторяло, что синьора Парелли ждёт у главного выхода аэровокзала его собственная машина.

И мне нестерпимо захотелось домой, в бревенчатый простой дом, на Оку, на Ильинский омут, где меня дожидаются ивы, туманные русские равнинные закаты и друзья.

Что же касается розовеющего луча солнца, то я тоже увидел его несколько дней спустя вблизи Парижа в городке Эрменонвиле, где в старинном поместье провёл последние свои годы и умер Жан-Жак Руссо.

Консьержка открыла нам железную калитку, молча взяла плату за вход и сердито махнула рукой — показала, откуда надо начинать осмотр парка. Потом она так же сердито сказала, что дом закрыт и мы можем только погулять по парку.

Парк был пуст. Мы не встретили в нём ни одного человека. Никто бы не помешал нам побеседовать с тенью Руссо, если бы она существовала в этих местах.

Под ногами трещали жёлтые листья платанов. Они усыпали не только всю землю вокруг, но и гладь туманных прудов.

Никогда в жизни я не видел таких огромных платанов. Они быстро облетали, обнажая свои исполинские кроны. Казалось, они были отлиты из светлой бронзы великим мастером, каким-нибудь Бенвенуто Челлини. Их вершины окутывал туман, и это придавало деревьям призрачный вид.

Серая тишина стояла вокруг. Парк погружался во мглу. Изредка с ветвей падали нам на руки прозрачные ледяные капли. И всё слетали жёлтые лапчатые листья. Лёгкий их треск шёл за нами по пятам.

Свинцовое небо простиралось над головой, но цвет этого свинца был всё же парижский — лёгкий и очень светлый.

На острове среди пруда белела гробница Руссо. К ней можно было подъехать только на лодке. Но лодок на пруде не было. И праха Руссо тоже на острове уже не было. Его давно перевезли в Пантеон.

Потом сквозь тюлевую мглу облаков начал просачиваться розовый свет солнца, и платаны вдруг как бы

ожили и переменились в лице,— покрылись медным блеском.

Я вспомнил такой же розовеющий вечер на Ильинском омуте, и знакомая тоска внезапно стиснула сердце,— тоска по нашей простой земле, своим закатам, своём подорожнике и скромном шорохе палой листвы.

Прекрасная Франция, конечно, оставалась великолепной, но равнодушной к нам. Тоска по России легла на сердце. С этого дня я начал торопиться домой, на Оку, где всё было так знакомо, так мило и простодушно. У меня холодало под сердцем при одной только мысли, что возвращение на родину может по какой-либо причине задержаться хотя бы на несколько дней.

Я полюбил Францию давным-давно. Сначала умозрительно, а потом вплотную, всерьёз. Но я не мог бы ради неё отказаться даже от такой малости, как утренний шафранный луч солнца на бревенчатой стене старой избы. Можно было следить за движением луча по стене, слушать голосистые вопли деревенских петухов и невольно повторять знакомые с детства слова:

На святой Руси петухи кричат,—
Скоро будет день на святой Руси...

С платанов изредка слетали листья. Сады Эрменонвиля, священные сады, овеянные памятью Руссо, погружались в сумрачный осенний день, такой же короткий, как и у нас в России. Он был так же печален, как и у нас. Что-то родное виделось нам в этом беззвучном тумане, курившемся над прудом, и в молчании близкой ночи.

Нет! Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.

*Июль 1964 года*

## БЕГЛЫЕ ВСТРЕЧИ

Поздней осенью я проезжал на машине по Великолуцкой и Псковской областям и видел много маленьких лесных деревень. Особенно запомнилась мне деревня с приветливым названием Звоны.

Стояли эти Звоны на бугре, над глухим и, очевидно, очень глубоким озером. Дело было к вечеру. Небо уже

померкло, но в окнах домов ещё отражался желтоватый холодный закат.

Вечером того же дня я приехал в просторный и тихий городок Опочку. Среди города шумела и пенилась река Великая.

Я остановился в опочецкой гостинице. И была у меня в этой гостинице мимолётная и интересная встреча.

В гостинице только что окончился ремонт, и потому всё было забрызгано извёсткой, даже электрические лампочки под потолком.

Через час после приезда я встретился в прихожей гостиницы с низеньким седым человеком в потёртом пальто.

Старик этот, оказывается, уже знал, что я приехал из Москвы. Он остановил меня и спросил:

— Когда в последний раз вы были в Большом зале консерватории?

Я был озадачен этим вопросом, но ответил, что был месяц назад, на концерте пианиста Святослава Рихтера.

— Суть в том,— сказал старик,— что я окончил Московскую консерваторию. По классу композиции. Когда вернётесь в Москву, то поклонитесь от меня Большому залу консерватории и нашему знаменитому органу. Очень прошу вас!

— А вы давно были в Москве?

— Семь лет назад,— ответил композитор и тут же спросил:— Интересовались ли вы, сколько в Великолуцкой области пианино и роялей в так называемых «сельских местностях»? В колхозных клубах и таких городках, как эта благословенная Опочка?

Я снова был озадачен и ответил, что нет, этим вопросом я не интересовался.

— Вот видите!— горестно воскликнул композитор.— А их до безобразия мало.

В прихожую вошёл человек в ватнике. От него сильно несло бензином. Должно быть это был шофёр.

— Папаша,— сказал он композитору,— пойдёмте в столовую пообедаем. Я сегодня при деньгах. Заправимся под самую пробку.

— Спасибо, голубчик. Но у меня через два часа концерт в школе. Буду играть Чайковского и Шостаковича. Никак не могу.

Композитор повернулся ко мне.

— Семь лет!— воскликнул он и взял меня за рукав пальто.— За семь лет я объехал весь север, а теперь объезжаю Великолуцкую область. Я даю концерты по сёлам и маленьким городам. Я мог бы жить в Москве и даже, может быть, преуспевал бы, как многие мои товарищи. Человек я одинокий, мне не много надо. Как сказал некий поэт: «Только корку хлеба, кружку молока да вот это небо, эти облака». Но я, как видите, предпочитаю скитаться по городам и весям и давать концерты. По существу за гроши. Но не в этом суть! Вы не можете представить себе, как народ тянется к музыке. Особенно молодёжь. До слёз на глазах. И как люди благодарны за музыку. Ради этого стоит походить в поношенном пальто.

— На дорогу и то небось не хватает,— заметил шофёр.

— Не было ещё случая,— гордо ответил старик,— чтобы меня не перевезли бесплатно из одного места в другое. Я композитор, но сейчас я выступаю как пианист. Это справедливо.

— Почему?— спросил я.

— Суть заключается в том,— ответил композитор,— чтобы правильно наметить для себя ту наибольшую меру прекрасного, которую вы можете передать людям. Вы понимаете меня? Моим собственным музыкальным вещам далеко до Моцарта или Чайковского, Мусоргского или Шостаковича. Поэтому я предпочитаю увеличить степень своей полезности для народа и лучше играть чужие вещи, чем сочинять свои.

— Точно!— сказал шофёр.— Я вот шофёр третьего класса, так я на «Зис-110» за руль не сяду. Могу запороть машину.

— Погоди, Захар Иванович,— сказал композитор.— Что такое я? Как композитор? Простая мелодия. Без исполинского порыва ввысь, без страсти. А в наше время прежде всего нужно воспитывать большие человеческие чувства. Прежде всего! Прошу мне верить, поэтому я и стал пианистом, исполнителем бессмертных вещей. Некий поэт сказал: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье». Золотой отблеск, который бросает на нас искусство,— вечен! Он бесконечно облагораживает нас. В этом суть, дорогой товарищ!

Композитор помолчал, как бы прислушиваясь к отдалённому звуку, потом сказал:

— Я неясно говорю. Плохая привычка. Мне приходится быть подчас не только пианистом, но и настройщиком. И даже музыкальным мастером. На днях был такой случай. Есть здесь поблизости деревушка Звоны. Да, да, чудесная деревня. Над озером. И вот, оказывается, в этих Звонах у тамошней сельской учительницы стоит в домишке рояль. Остался ей в наследство от старушки предшественницы. Как он попал к этой старушке, никто толком не знает. Замечательный инструмент! Но на нём было восемь немых клавиш. Пришлось мне самому его чинить. Правда, провозился я с ним долго. Но починил. Звук — божественный! Теперь его перевезли в колхозный клуб. Вот так и работаем.

— Если рассуждать практически,— сказал шофёр, — то вы, Леонид Петрович, вроде как малый ребёнок. Как же это можно так беспокойно существовать в вашем преклонном возрасте!

— А ты не рассуждай практически,— заметил композитор и показал глазами на дежурную по гостинице, короткую женщину с выпуклыми глазами и поджатым ртом. Она сидела за перегородкой и щёлкала на счётах.— Таких вот практически рассуждающих развелось, как капустной тли. Ты лучше на концерт бы пришёл.

— А как же!— ответил шофёр.— Вы без меня, Леонид Петрович, пока ни одного концерта в Опочке не давали.

Композитор попрощался и вышел.

— Кто этот человек?— спросил я дежурную.

— Сами не видите, что ли!— грубо ответила она и передёрнула плечами.— Побирается за счёт музыки. Только и знает, что нарушать правила внутреннего распорядка. То поёт, то приведёт мальчишек из ремесленного и учит их в номере играть на гитаре. А у нас люди стоят солидные, командировочные. Выселить его следует за это.

К ночи задул над Опочкой сумрачный, серый ветер, нагнал тучи. Порывами налетел дождь, бил твёрдыми каплями в оконные стёкла, смывал с них извёстку.

Темнота залегла так густо, что даже яркие фонари на пустынных улицах не могли отодвинуть её за пределы города. Так она и пролежала над Опочкой до водянистого и холодного рассвета.

Среди ночи я проснулся. Шумел ветер, мотал на улице за окном голые деревья. Тусклые тени от веток беспорядочно шевелились на стене над моей головой.

Внизу, в прихожей, часы пробили шесть.

Я лежал и вспоминал о старом композиторе. Как ему, должно быть, одиноко в такие окаянные ночи в чужом городе ...

За дверью кто-то прошёл. Застучал медный стержень рукомойника, висевшего в коридоре, заплескалась вода, и человек, умываясь, запел вполголоса:

Пусть плачет и стонет осенняя вьюга
И волны потока угрюмо шумят...

Тотчас тяжело заскрипела лестница. Кто-то вошёл в коридор, и я услышал сварливый голос дежурной:

— Прекратите безобразие! Ишь чего придумали — петь по ночам!

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона?— спросил её в ответ композитор, но таким свистящим шёпотом и с такой наигранной свирепой угрозой, что дежурная, что-то бормоча о правилах внутреннего распорядка, быстро ушла, а композитор совершенно по-мальчишески рассмеялся ей вслед. Я тоже рассмеялся у себя в номере.

И я понял, что никакие неприютные ночи и никакие бездушные люди не смогут смутить этого чистого сердцем и весёлого человека.

Утром я уехал из Опочки в Псков. По пути я заехал в Пушкинские горы, на могилу поэта.

Как всегда поздней осенью, там было безлюдно и тихо. С могильного холма виднелись сизые дали, тронутые последней позолотой.

На могиле, около простого белого памятника с надписью «Александр Сергеевич Пушкин», я никого не застал. Только через час пришло несколько цыган и цыганок — табор их я видел невдалеке от Пушкинских гор.

Цыгане сели на землю около могилы, о чём-то тихо посоветовались между собой и едва слышно запели протяжную и печальную цыганскую песню.

Не пела только одна молодая цыганка. На её плечи была накинута нарядная шёлковая шаль. Она тоже сидела на земле и перебирала палые листья. Потом она встряхнула головой, вынула из чёрных гладких волос

алую бумажную розу, бросила её к подножию памятника Пушкину и улыбнулась, сверкнув влажными зубами.

Цыганская песня всё лилась, как заглушённый звон. Я вспомнил композитора в Опочке, и у меня в сознании возникла вдруг какая-то явная связь между этим протяжным напевом и звуками рояля в самых глухих, самых отдалённых углах страны, во всех этих Звонах, Горячих Станах, Сосенках и Каменных Гривах.

Цыгане встали и начали спускаться по выветренной каменной лестнице с могильного холма.

Молодая цыганка ушла последней. Она постояла около могилы, потом обернулась ко мне, сказала хрипловатым голосом: «Я бы тебе, дорогой, спела «Чёрную шаль», да нельзя — горло сильно болит»,— легко повернулась и ушла вслед за цыганами.

Я остался. Короткий, как мимолётная улыбка, день быстро иссякал, сливая все краски осени в один угрюмый серый цвет. В этом цвете было уже предчувствие снега, зимних сумерек с их почерневшим серебром старых берёз и стелющегося дыма.

И почему-то мне пришли на память слова композитора о вечном отблеске, что бросает на нас искусство.

*1954*

## СТАРЫЙ ПОВАР

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пёс. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Всё убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая

посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.

— Что же делать?— испуганно спросила Мария.

— Выйди на улицу,— сказал старик,— и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.

— Наша улица такая пустынная ...— прошептала Мария, накинула платок и вышла.

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нёс по ней листья, а с тёмного неба падали холодные капли дождя.

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:

— Кто здесь?

Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.

— Хорошо,— сказал человек спокойно.— Хотя я не священник, но это всё равно. Пойдёмте.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.

Он был ещё очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите!— сказал он.— Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я слу-

жу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп,— прошептал старик и притянул незнакомца за руку поближе к себе.— А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — её звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства, и приказал кормить её сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я её научил не трогать ни пылинки с чужого стола.

— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это?— спросил незнакомец.

— Клянусь, сударь, никто,— ответил старик и заплакал.— Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!

— Как вас зовут?— спросил незнакомец.

— Иоганн Мейер, сударь.

— Так вот, Иоганн Мейер,— сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика,— вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а,наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.

— Аминь!— прошептал старик.

— Аминь!—повторил незнакомец.— А теперь скажите мне вашу последнюю волю.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.

— Я сделаю это. А ещё чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:

— Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я встретил её в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветёт весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.

— Хорошо,— сказал незнакомец и встал.— Хорошо,— повторил он, подошёл к клавесину и сел перед ним на табурет.— Хорошо!— громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.

— Слушайте,— сказал незнакомец.— Слушайте и смотрите.

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пёс вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пёс только потряхивал ушами.

— Я вижу, сударь!— сказал старик и приподнялся на кровати.— Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась,— повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в чёрное окно.

— А теперь,— спросил он,— вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислушиваясь.

— Неужели вы не видите,— быстро сказал незнакомец, не переставая играть,— что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел её, и от неё подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается всё выше, всё синей, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.

— Я вижу всё это!— крикнул старик.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.

— Нет, сударь,— сказала Мария незнакомцу,— эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.

— Да,— ответил незнакомец,— это яблони, но у них очень крупные лепестки.

— Открой окно, Мария,— попросил старик.

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по

одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик сказал, задыхаясь:

— Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать... имя. Имя!

— Меня зовут Вольфганг Амедей Моцарт,— ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

*1940*

## РУЧЬИ, ГДЕ ПЛЕЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ

Судьба одного наполеоновского маршала,— не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов,— заслуживает того, чтобы рассказать её вам, сетующим на скудость человеческих чувств.

Маршал этот был ещё молод. Лёгкая седина и шрам на щеке придавали привлекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов.

Солдаты любили маршала: он разделял с ними тяжесть войны. Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, и просыпался от хриплого крика трубы. Он пил с солдатами из одной манерки и носил потёртый мундир, покрытый пылью.

Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Ему никогда не приходило в голову нагнуться с седла и запросто спросить у крестьянина, как называется трава, которую топтал его конь, или узнать, чем знамениты города, взятые его солдатами во славу Франции. Непрерывная война научила его молчаливости, забвению собственной жизни.

Однажды зимой конный корпус маршала, стоявший в Ломбардии, получил приказ немедленно выступить в Германию и присоединиться к «Большой армии».

На двенадцатый день корпус стал на ночлег в маленьком немецком городке. Горы, покрытые снегом,

белели среди ночи. Буковые леса простирались вокруг, и одни только звёзды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности.

Маршал остановился в гостинице. После скромного ужина он сел у камина в маленьком зале и отослал подчинённых. Он устал, ему хотелось остаться одному. Молчание городка, засыпанного по уши снегом, напомнило ему не то детство, не то недавний сон, которого, может, и не было. Маршал знал, что на днях император даст решительный бой, и успокаивал себя тем, что непривычное желание тишины нужно сейчас ему, маршалу, как последний отдых перед стремительным топотом атаки.

Огонь вызывает у людей оцепенение. Маршал, не спуская глаз с поленьев, пылавших в камине, не заметил, как в зал вошёл пожилой человек с худым, птичьим лицом. На незнакомце был синий заштопанный фрак. Незнакомец подошёл к камину и начал греть озябшие руки. Маршал поднял голову и недовольно спросил:

— Кто вы, сударь? Почему вы появились здесь так неслышно?

— Я музыкант Баумвейс,— ответил незнакомец.— Я вошёл осторожно потому, что в эту зимнюю ночь невольно хочется двигаться без всякого шума.

Лицо и голос музыканта располагали к себе, и маршал, подумав, сказал:

— Садитесь к огню, сударь. Признаться, мне в жизни редко перепадают такие спокойные вечера, и я рад побеседовать с вами.

— Благодарю вас,— ответил музыкант,— но, если вы позволите, я лучше сяду к роялю и сыграю. Вот уже два часа, как меня преследует одна музыкальная тема. Мне надо её проиграть, а наверху, в моей комнате, нет рояля.

— Хорошо...— ответил маршал,— хотя тишина этой ночи несравненно приятнее самых божественных звуков.

Баумвейс подсел к роялю и заиграл едва слышно. Маршалу показалось, что вокруг городка звучат глубокие и лёгкие снега, поёт зима, поют все ветви буков, тяжёлые от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахмурился, взглянул на поленья и заметил, что звенит не огонь, а шпора на его ботфорте.

— Мне уже мерещится всякая чертовщина,— сказал маршал.— Вы, должно быть, великолепный музыкант?

— Нет,— ответил Баумвейс и перестал играть,— я играю на свадьбах и праздничных вечерах у маленьких князей и помещиков.

Около крыльца послышался скрип полозьев. Заржали лошади.

— Ну вот,— Баумвейс встал,— за мной приехали. Позвольте попрощаться с вами.

— Куда вы?— спросил маршал.

— В горах, в двух лье отсюда, живёт лесничий,— ответил Баумвейс.— В его доме гостит сейчас наша прелестная певица Мария Черни. Она скрывается здесь от превратностей войны. Сегодня Марии Черни исполнилось двадцать три года, и она устраивает небольшой праздник. А какой праздник может обойтись без старого тапёра Баумвейса?!

Маршал поднялся с кресла.

— Сударь,— сказал он,— мой корпус выступает отсюда завтра утром. Не будет ли неучтиво с моей стороны, если я присоединюсь к вам и проведу эту ночь в доме лесничего?

— Как вам будет угодно,— ответил Баумвейс и сдержанно поклонился, но было заметно, что он удивлён словами маршала.

— Но,— сказал маршал,— никому ни слова об этом. Я выйду через чёрное крыльцо и сяду в сани около колодца.

— Как вам будет угодно,— повторил Баумвейс, снова поклонился и вышел.

Маршал засмеялся. В этот вечер он не пил вина, но беспечное опьянение охватило его с необычайной силой.

—В зиму!— сказал он самому себе.—К чёрту, в лес, в ночные горы! Прекрасно!

Он накинул плащ и незаметно вышел из гостиницы через сад. Около колодца стояли сани — Баумвейс уже ждал маршала. Лошади, храпя, пронеслись мимо часового у околицы. Часовой привычно, хотя и с опозданием, вскинул ружьё к плечу и отдал маршалу честь. Он долго слушал, как болтают, удаляясь, бубенцы, и покачал головой:

— Какая ночь! Эх, только бы один глоток горячего вина!

Лошади мчались по земле, кованной из серебра. Снег таял на их горячих мордах. Леса заколдовала стужа. Чёрный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть в них живительные соки.

Внезапно лошади остановились около ручья. Он не замёрз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горных пещер, из пущи, заваленной буреломом и мёрзлой листвой.

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струёй. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.

— Форель,— сказал возница.— Весёлая рыба!

Маршал улыбнулся. Опьянение не проходило. Оно не прошло и тогда, когда лошади вынесли сани на поляну в горах, к старому дому с высокой крышей.

Окна были освещены. Возница соскочил и откинул полость.

Дверь распахнулась, и маршал об руку с Баумвейсом вошёл, сбросив плащ, в низкую комнату, освещённую свечами, и остановился у порога. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин.

Одна из женщин встала. Маршал взглянул на неё и догадался, что это была Мария Черни.

— Простите меня,— сказал маршал и слегка покраснел.— Простите за непрошенное вторжение. Но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня.

Старый лесничий поклонился маршалу, а Мария Черни быстро подошла, взглянула маршалу в глаза и протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как льдинка. Все молчали.

Мария Черни осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцами по глубокому шраму и спросила:

— Это было очень больно?

— Да,— ответил, смешавшись, маршал,— это был крепкий сабельный удар.

Тогда она взяла его под руку и подвела к гостям. Она знакомила его с ними, смущённая и сияющая, как будто представляла им своего жениха. Шёпот недоумения пробежал среди гостей.

— Не знаю, нужно ли вам, читатель, описывать наружность Марии Черни? Если вы, как и я, были её современником, то, наверное, слышали о светлой красоте этой женщины, о её лёгкой походке, капризном, но пленительном нраве. Не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь Марии Черни. Быть может, только такие люди, как Шиллер, могли быть достойны её любви.

Что было дальше? Маршал провёл в доме лесничего два дня. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех и пение и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звёзды прижимаются к стёклам, чтобы блестеть в глазах у Марии Черни. Кто знает? Может быть, это обнажённая рука на жёстком эполете, пальцы, гладящие холодные волосы, заштопанный фрак Баумвейса. Это мужские слёзы о том, чего никогда не ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шёпоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение детства. Кто знает? И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце и Мария Черни судорожно гладит рукой обои, столы, створки дверей той комнаты, что была свидетелем её любви. И, может быть, наконец, это крик и беспамятство женщины, когда за окнами, в дыму факелов, при резких выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают с сёдел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора.

Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти у людей, ставших невольными их очевидцами.

Всё вокруг осталось по-прежнему. Всё так же шумели во время ветра леса и ручей кружил в маленьких водоворотах тёмную листву. Всё так же отдавалось в горах эхо топора и в городке болтали женщины, собираясь около колодца.

Но почему-то эти леса, и медленно падающий снег, и блеск форелей в ручье заставляли Баумвейса вынимать из заднего кармана фрака хотя старый, но белоснежный платок, прижимать его к глазам и шептать бессвязные печальные слова о короткой любви Марии Черни и о том, что временами жизнь делается похожей на музыку.

Но, шептал Баумвейс, несмотря на сердечную боль, он рад, что был участником этого случая и испытал волнение, какое редко выпадает на долю старого бедного тапёра.

*1939*

## КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелёными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах, как птица пересмешник, весёлое эхо. Оно только и ждёт, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать всё золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал в горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка?— спросил Григ.

— Дагни Педерсен,— вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда!— сказал Григ.— Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла,— ответила девочка.— Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у неё зеленоватые и в них поблёскивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами,— печально добавила Дагни.— У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни,— сказал Григ,— я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно её ещё сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь,— строго спросила Дагни,— вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так,— неуверенно возразил он.— Я сделаю её, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью,— умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав.— И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с неё пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни»,— подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты ещё маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты её едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чём-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжёлая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп,— ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила — Разве вы не зайдёте к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять её в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошёл в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из неё вываливались шишки.

«Я напишу музыку,— решил Григ.— На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене всё было по-старому.

Всё, что могло приглушить звуки,— ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нём могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделён воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всём — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и чёрные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине ещё долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сёстрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждёт и надо бы поторопиться, чтобы сделать всё, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошёл снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал, и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелёными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама ещё не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце,— говорит ей Григ.— Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвёл белый цветок и наполнил всё твоё существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодёжи жизнь, работу, талант. Отдал всё без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с её загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно всё, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всём, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щёлку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около её босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали,

сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал её ещё девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжёлыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждёт Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж её Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пёстрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тётушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шёлка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с чёрными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потёртых на сгибе. Всё это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картинки, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времён Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тётушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но всё же тётушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка,— сказал он,— это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актёр вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни,— кричала в таких случаях тётушка Магда,— заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был тёплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть своё единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в чёрном и, наоборот, в тёмные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела чёрное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась,

что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и её длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда,— сказал вполголоса дядюшка Нильс,— Дагни так хороша, будто идёт на первое свидание.

— Вот именно!— ответила Магда.— Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришёл на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижёр, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на неё странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал её имя.

— Это ты меня звал, Нильс?— спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на неё, прижав ко рту платок, тётушка Магда.

— Что случилось?— спросила Дагни.

Магда схватила её за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвящённая дочери лесничка Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у неё заболела

грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слёзы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у неё шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в аукание детей, в песню о девушке — в её окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила всё пространство между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светили звёзды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье,— говорил он.— Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом всё разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на неё. Может быть, некоторым из

слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слёз щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю... — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шёл Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи ещё лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного ещё ей самой, но охватившего всё её существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал её смех и пошёл домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что её жизнь не пройдёт даром.

*1954*

## РАВНИНА ПОД СНЕГОМ

Снег начал идти с вечера и к ночи запорошил всю равнину.

Океан катил на песок длинные волны. Они шумели без устали — месяцы, годы, — и Аллан так привык к этому шуму, что перестал его замечать. Наоборот, Ал-

лана поражала окрестная тишина. Ему казалось, что она выпала на землю вместе со снегом.

Холодный снег и чёрные оконные стёкла с отражением свечи. Должно быть, эту свечу было видно с океана, где волны мотали тяжёлую рыбачью барку. И рыбаки, глядя на слабый огонь, думали о кипящем котелке и сухой постели.

Аллан усмехнулся. Вечный самообман, вечная наивность человеческих надежд и мечтаний! Хороши бы они были, эти рыбаки, если бы им удалось пристать к берегу и они прошли бы через равнину к его дому! Что бы они увидели здесь? Пустую комнату, свечу, солдатскую койку и холодную золу в камине. И его, Аллана, закутанного в рваный шарф, озябшего и до того печального, что он даже не мог говорить. Потому что он был одинок, как никто. Даже мышь, что шуршала в золе, была счастливее его. Она была серой и веселой мышью, а он был великим и никому не нужным поэтом Америки — огромной страны, где сейчас начиналась эта затяжная зима.

Люди любят рассуждать о счастье. Но никто не знает, что самое большое счастье — в понимании. Он не хотел ни славы, ни покоя. Он хотел только одного — чтобы окружающие поняли, что его воображения и умения радовать хватит на тысячи людей, а не на двух-трёх.

Ему хотелось дарить без конца. И чем больше он дарил, тем становился богаче.

Он мог, сидя на камне у перекрёстка, рассказать маленькому негритёнку свой новый замысел. Этот замысел был так похож на сказку, что Аллан сам смеялся от неожиданности, когда рассказывал его. И негритёнок тоже хохотал и хлопал себя по бокам чёрными руками.

Он мог сказать случайной попутчице в дилижансе о своей любви к ней, начавшейся сейчас, внезапно. Конец этой любви был близок — на первой же остановке, где она сойдёт. Но вместе с тем Аллан знал, что конца этой любви не будет. Потому что есть память, и она не даст покоя.

Аллан так ясно представлял себе эту встречу, как будто он должен был тотчас сесть к столу и написать о ней. Усталое от дороги лицо молодой женщины, визг чайки над тусклой водой, фырканье лошадей, скрип песка под колёсами — и потом, после нескольких его слов, мир каким-то чудом зацветёт вокруг.

Женщина подымет глаза, улыбнётся, и он заметит смятение на её лице. Кто этот человек? Гость из той страны, о которой мы иногда думаем втихомолку, но не верим в её существование? Или безумный?

Почему солнце прорвало гряду сырых облаков и морская пена ослепительно засверкала, как взбитый снег? Почему возница запел о той, что похитила его сердце, ничего не сказав о любви? Почему с далёких холмов доносится гул леса, а редкие капли дождя тяжело бьют по крыше дилижанса? Почему радуга опрокинулась над равниной, как пограничная арка? Что это за густое жужжание? Неужели золотой жук пролетел за окном? Почему дрожит её рука и губы силятся сказать: «Кто вы? Не надо было говорить мне этого».

Он знает, что она права, что он разрушил освящённое годами течение жизни, что отныне её комната с полосатыми обоями, голос мужа, треск кофейной мельницы и добропорядочные гости — всё это покажется мёртвым и скучным, как обыденный день, заполненный заботами свыше сил.

«Меня могут обвинить в пристрастии к женщинам и детям»,— подумал Аллан.

Ну, хорошо. Вспомним другое. Больницу в Морристоне, когда на соседней койке умирал лесоруб. Его придавило сосной, и старику больше ничего не оставалось, как умереть.

И он умер, конечно. Но ночью, за два часа до смерти, он открыл глаза и спросил Аллана:

— Сосед! А, сосед! Вы знаете, что такое леса?

— Знаю,— ответил Аллан, немного подумав.— Это, пожалуй, то же самое, что океан, если смотришь на него с одинокой вершины. Они шумят, колеблются, и солнце закатывается в листве, как в тёмной бездне. И если птица сядет над головой и прокричит пять раз, то, значит, где-то здесь, в пяти ярдах, зарыт старинный клад. Его легко отыскать и вытащить из песка окованный железом сундук. Можно разбить его и найти там — нет, не дублоны!— а подвенечное платье для вашей дочери. Её, кажется, зовут Чармен?

— Да,— сказал лесоруб,— её зовут Чармен.

— А вам случалось,— спросил Аллан,— встречаться с глазу на глаз с медведем?

— Ещё бы!— ответил лесоруб.— Он долго смотрел

на меня своими зелёными буркалами, потом мы подмигнули друг другу и разошлись. Мы лесные жители, и нам незачем задираться. А Чармен,— неожиданно добавил лесоруб,— всего девятнадцать лет. Я написал ей, что скоро поправлюсь.

Чем можно было его утешить? Только ложью.

— Вы знаете,— сказал Аллан,— стоит вам закрыть глаза, поглубже вздохнуть и вызвать в памяти Чармен— и всё случится так, как вы хотите. Попробуйте! Ну! Ветер всегда затихает к вечеру, и солнце освещает сосны над вашей лачугой. Смотрите на небо сколько вам угодно, но вы увидите только одно-единственное облако, такое маленькое, как перо, потерянное сойкой. И больше ничего. Я же знаю — вам хочется дождаться, когда темнота настолько сгустится, что в ней заблестят звёзды. Это значит, что пора ужинать. И ужин, конечно, готов — Чармен гремит мисками и напевает песенку. Ах, чёрт! Я позабыл её слова.

— А-а,— догадался лесоруб,— это, должно быть, о том нищем медвежонке, что клянчил у девочки милостыню?

— Да-да! Это та самая песенка. Я вспомнил. И я спою её, но тихо, чтобы не услышали сиделки. Они думают, что всё доставляющее нам радость служит во вред.

Он начал напевать:

Тук-тук!— стучится в дверь
Какой-то мокрый зверь —
Голодный медвежонок.
«Прошу меня простить,—
Нельзя ли одолжить
У Чармен мне деньжонок?»

Лесоруб уснул под эту песенку и так и не проснулся. Жизнь затихла в нём, как отдалённый звон.

Лесоруба похоронили на кладбище недалеко от больницы. Между зелёных могил паслись стреноженные лошади.

Аллан вызвался сделать на деревянном кресте эпитафию. Он написал:

«Здесь спит Томас Бирн, лесоруб, 63 лет, убитый упавшей сосной. Он всю жизнь трудился и потому был благородным человеком. Да упокоит его господь в селеньях праведных».

Аллан выздоравливал и доживал в больнице последние дни. Он часто ходил на могилу Бирна. Ему нрави-

лось думать, что под этим ещё не заросшим травою холмом лежит человек, который мог бы стать его другом.

Они бы наверняка сошлись, потому что лесорубу не надо было объяснять всех сложностей жизни, подтачивавших существование Аллана. С ним Аллан отдыхал бы за разговором о том, как надо разводить пилу и подманивать птиц.

Перед тем как покинуть больницу, Аллан написал дочери лесоруба о последних минутах отца. И тотчас исчез, как бы боясь, что Чармен приедет и застанет его в Морристоне.

Аллан подошёл к окну. Океан разыгрывался и сотрясал берега.

— Никогда!— сказал Аллан и поежился от холода.— Ни-ко-гда!— повторил он.

Никогда не вернётся прожитая жизнь. Ему было жаль её. Если выбросить годы нищеты, утрат и путаницы, возникавшей почти при каждом общении его с людьми, то всё же останется несколько десятков дней, ласковых и тихих, как падение этого снега.

Вирджиния умерла. Её звали «Троицын цвет». Так зовут в этом штате весенний лёгкий цветок.

Он виноват в её смерти. Он был не способен заработать несколько десятков долларов, чтобы позвать врача, протопить эту старую лачугу, создать Вирджинии хотя бы подобие покоя. Он мог только мечтать. Это было единственным делом его жизни.

Что он мог ещё? Только укрывать Вирджинию своим рваным пальто, когда она лежала в жару на соломенном тюфяке. И, отвернувшись, глотать слёзы. Даже бродячий кот, прижившийся в их доме, знал лучше Аллана, что было нужно делать. Все последние ночи он лежал на груди у Вирджинии и согревал её своей теплотой.

Тогда была такая же зима и океан шумел так же, как и сейчас,— ему не было дела до страданий Вирджинии. Тысячи лет он накатывал на землю горы зелёной воды. Это занятие было таким величественным, что людские горести казались перед ним мимолётными, как шорох песчинки.

— Неужели никогда?— спросил Аллан и повернулся лицом к тёмной комнате.

Как долго он живёт с этими скудными вещами! Как

безропотно они несут вместе с ним тяжесть существования! Они были здесь при Вирджинии. Она прикасалась к ним. С ними можно было разговаривать вполголоса, но всё равно не услышишь от них ни одного слова в ответ.

— Почему вы живёте, а её нет?— громко спросил Аллан.

Вещи молчали.

— Ну, ничего,— сказал Аллан,— не обижайтесь. Я никогда вас не брошу.

Вещи не отвечали.

— Боже мой!— сказал Аллан.— Как пережить эту ночь!

Он сел к столу и начал писать. Это немного успокойло, хотя он и знал, что каждый его новый рассказ вызовет злое, а в лучшем случае почтительное недоумение. В Америке к нему относились как к пришельцу с чужой планеты.

Как смеет этот нищий поэт разрушать своим острым и сверкающим словом добропорядочность и твёрдые понятия и превращать трезвый мир в чучело для насмешек! Как он смеет выдавать своё воображение за нечто столь же действительно существующее, как существуют биржи, звёздный флаг, церкви и конторы!

Что это даёт, кроме короткой ложной радости и длительной сосущей под сердцем тоски? Зачем отравлять сердца и рассказывать прекрасные небылицы? Для лишних слёз? Для разочарований? Для чего?

«Неправда!— говорил про себя Аллан.— Я — весёлый лёгкий человек. Не хмурьтесь! Засмейтесь мне навстречу. Я хочу прибавить вам каплю счастья. А вы отшатываетесь от неё, как от яда. Глупцы!»

«Я глубоко убеждён,— писал Аллан,— что человек может совершать чудеса. Если мне не удастся доказать это, то через пятьдесят или сто лет появится другой человек, который докажет это лучше меня. Я вовсе не хочу сказать — избави господи!— что именно я способен сделать что-нибудь чудесное. Но всё же я заметил, что люди охотно верят в те истории, которые я для них выдумываю, и тотчас рассказывают о них друг другу. Так у людей возникает твёрдое убеждение в существо-

вании того, что выдумано мной и никогда не бывало. А разве это не чудо?

Мы знаем, что корабли Магеллана обошли вокруг света, а адмирал Нельсон был убит в Трафальгарском бою. Но с такой же достоверностью мы знаем, что существовал принц Гамлет, а леди Макбет не могла отмыть со своих рук кровавые пятна...»

Кто-то сильно постучал, должно быть кулаком, в стену. Аллан прикрыл исписанную страницу валявшимся на столе листком пожелтевшей бумаги с кривым рядом цифр, встал и вышел в прихожую. Дуло в разбитое окно, и было слышно, как за порогом нетерпеливо бьёт ногой по мёрзлой земле и фыркает верховой конь.

Аллан, не окликая ночного гостя, распахнул дверь.

— А-а! — сказал он. — Доктор Грегори! Как это вы решились приехать в такую ночь?

Грегори, нагнувшись, вошёл в прихожую, снял шляпу и стряхнул с неё снег. Это был высокий сухой человек со щеками кирпичного цвета. Он прищурил и без того маленькие глаза, улыбнулся и протянул Аллану руку.

— Мой долг, — ответил он хрипловатым голосом. — Я был здесь неподалёку, у Фридера. Он подыхает от водянки. Вас уже две недели не видели в Вест-Пойнте. Я решил заехать по пути и проведать, в добром ли вы здоровье, Аллан.

Они вошли в комнату.

— К сожалению... — пробормотал Аллан и взглянул на чёрный холодный камин.

— Не стоит беспокоиться, — ответил Грегори, — раз в кармане всегда есть вот это... . А стаканы найдутся.

Он вынул из кармана и поставил на стол бутылку виски.

Сначала они выпили молча и медленно. Океан ревел всё яростнее, он совсем осатанел. Пламя свечи трепетало на мраморном лице богини Паллады — её бюст стоял на старом шкафу.

— Пыль у вас, — сказал, наконец, Грегори. — Пыль и холод!

Он обернулся к Палладе.

— Разбейте эту женскую голову, эту богиню победы!

— Зачем?

— Она вам не принесла ни победы, ни даже успеха.

— Как знать,— сдержанно ответил Аллан.

— Что там знать!— воскликнул Грегори.— Ваша участь ясна, как вот этот стакан. Считайте себя кем хотите. Посланником неба. Или ада. Мне всё равно. Что вы ещё можете выдумать, Аллан? Многое? Прекрасно! А что вы за это получите? Пыль и холод? И писк мышей вон там, в камине?

Аллан пристально посмотрел на Грегори. Доктор мало выпил, но был уже пьян и как всегда начинал придираться. Аллан усмехнулся.

— Вы гордитесь своим воображением,— сердито сказал Грегори.— А между тем не можете выжать из него ни цента. Вы не знаете, что такое жизнь. Поездите по ночам, как я. Под этим снегом. На старой лошади. А чего ради? Ради благодарности нищих и бездельников? Из неё, так же как и из вашей поэзии, не выжмешь гроша.

— Я слушаю вас очень внимательно.

Доктор стукнул кулаком по столу.

— Чёрт меня побери, но я заслуживаю лучшего существования! Я просился лекарем в армию генерала Тейлора. Мне нравилась эта мексиканская война. Там здорово грели руки.

— Америка полна негодяями и искателями приключений,— мягко заметил Аллан.

— Искателями золота,— поправил Грегори.— Не стоит быть простачком в наше время, Аллан.

Грегори в упор посмотрел на Аллана.

— Я, кажется, чуточку выпил. Да! Так как же, Аллан? Можете вы из ваших мечтаний вытряхнуть хоть единый доллар? Сколько же после этого стоит ваша голова?

— Продолжайте!

— Хо!— крикнул доктор.— Я не дам за неё даже свой рваный зонтик.

— У меня нет охоты,— спокойно сказал Аллан,— слушать *любую* пьяную болтовню. Вы мне помешали.

— Всё равно у вас нет выбора собеседников,— пробормотал Грегори.— Чему я помешал? Изобретению философского камня? Или эликсира молодости?

Глаза Аллана почернели от гнева.

— Хорошо!— воскликнул он.— Раз вы издеваетесь над воображением... видите этот рваный листок с цифрами?

— Счёт от лавочника,— сказал Грегори и налил себе виски.— Вижу. Посмотрим, что вы ещё выдумаете. В вашем теперешнем положении.

— Это не счёт от лавочника. Вы недогадливый человек, Грегори. Особенно когда напьётесь и грубите. Я нашёл этот листок в старом фолианте. В описании открытия Флориды адмиралом Понсэ де Леоном. Я купил эту книгу у негра в Вест-Пойнте. Она попахивает перцем и веками.

— Просто пахнет негром,— возразил Грегори.

— Этот листок был вклеен между двумя страницами. Судя по чернилам, бумаге и почерку, ему около двухсот лет. Это тайная запись. Вы могли бы её разобрать?

— И не подумал бы!

— Для этого у вас просто не хватит гибкости ума,— вежливо объяснил, улыбнувшись, Аллан.— Нужно найти ключ. Я нашёл его и восстановил эту запись. За несколько часов.

— А-а,— небрежно протянул Грегори.— Что же там было такого особенного?

— В школе вы учили историю завоевания Америки. Вы знаете, конечно, о каперах и пиратах. Одного из них звали Блейк. Он был англичанином, но работал на испанского короля.

— Спасибо за свежие новости!— пробормотал Грегори.— Блейк! Он был самым богатым подлецом на этой земле.

— Перед смертью Блейк зарыл свои богатства. Никто не знает где. Их искали сто лет и ...

— Нашли?— спросил Грегори.

— Нет. Но сейчас их найти ничего не стоит.

Грегори безнадёжно махнул рукой.

— Ох, это старые сказки, Аллан! Для парализованных бабушек около камина.

— Записывайте!— строго сказал Аллан.— Я буду расшифровывать эту ветхую запись и диктовать. Я читаю теперь эти цифры с такою же лёгкостью, как вы рецепты. Но до сих пор я не удосужился выразить эту математическую запись в словах.

— Забавно!— пробормотал Грегори, взял перо, резко отодвинул рукописи Аллана и приготовился писать.

— Пишите! «Я, божьей милостью известный всем Блейк, завещаю тому, кто сможет прочесть эту пред-

смертную запись, не обращать её во зло людям, а применить для добра. Я беру с него клятву в этом перед престолом всевышнего. В случае если он найдёт мои сокровища, накопленные в морских схватках,— да отпустит мне господь невинно пролитую кровь!—то пусть возьмёт себе только сотую часть, а всё остальное отдаст первой же девчонке, какую он встретит в окрестностях, при условии, что, кроме рваного платья, на ней ничего не будет надето.

Если этот мой приказ не будет исполнен, то в день воскресения мёртвых я встану из могилы и сочтусь с тем обманщиком самым страшным судом, какой способен придумать человеческий разум.

Клад зарыт к югу от форта Брунсвик, на острове Джекиле, под третьим холмом, если идти от северной оконечности острова, от мыса Иглы. Найдя середину холма, надо отметить сто семнадцать шагов к юго-юго-западу, к тому месту, где среди наваленных в беспорядке камней лежит обломок чёрного лабрадора. От этого обломка отсчитать ещё тридцать шагов на двести сорок один градус и тогда начинать работу.

Сокровища эти могут ослепить весь человеческий род. Даже всемилостивейший мой король не обладает и третьей частью таких богатств, хотя в его владениях не заходит солнце и любой ураган затихает, не долетев до их середины.

— Переписали?— спросил Аллан, выждав, когда Грегори допишет последнее слово.

— Да. Занятная штука.

— Благодарю вас,— Аллан взял написанный Грегори листок из-под руки у доктора и небрежно засунул в старый фолиант.— Теперь вы убедились в силе воображения?

Грегори медленно взглянул на Аллана, подмигнул на фолиант, хлопнул себя по коленям набухшими красными руками и захохотал.

— Вы здорово умеете морочить голову,— признался он добродушно.— Что же вы до сих пор не выкопали этот клад, Аллан? А? Нет времени? Или при вашем богатстве вы в нём не нуждаетесь?

Аллан не ответил.

— Ну ладно!— примирительно сказал Грегори.— Хватит. Оставим эти детские бредни. Меня сейчас занимает другое. Как вы?

— Бессонница,— ответил Аллан.— Это тяжелее всего. Мне хочется записать мысли, что проносятся всю ночь напролёт в моей голове. Но тогда они остановятся.

— И слабость?— спросил Грегори.

— Да. И слабость.

— Нервы натянуты с силой струны,— заметил Грегори.— А прочности в них не больше, чем в паутине.

Он задумался.

— Что же мне делать с вами? Я вам скажу откровенно — надо лечь в больницу.

— Опять!— с тоской воскликнул Аллан.— Нет! Ни за что!

— О боже мой!— вздохнул Грегори.— Всё не так! Я могу дать вам порошки от бессонницы. Но это вас не спасёт.

— Меня ничто не спасёт.

Грегори строго посмотрел на Аллана, достал из жилетного кармана несколько бумажных пакетов, порылся в них и протянул один Аллану.

— Примите сейчас. Тогда к утру уснёте. Можно с виски. Это будет сильнее.

Аллан высыпал в стакан с виски белый мохнатый порошок и выпил залпом.

— Ночь кончается,— сказал Грегори.— Я бы мог посидеть у вас до утра, чтобы проследить за вашим состоянием. Но кто же за мной закроет дверь, когда вы уснёте?

— Я могу закрыть её сейчас.

— Вы, как всегда, чрезвычайно любезны.

Грегори встал так резко, что порыв воздуха погасил свечу. Тотчас ночь побледнела, и Аллан увидел за окном в освещении, похожем на отблеск лунного холодного огня, пенистую даль океана и чёрное дерево под окном.

— Ну что же вы?— зло сказал Грегори.— Будете закрывать дверь или нет? Советую зажечь свечу.

Грегори пошёл в прихожую и наткнулся в темноте на стул. Он вышел, отвязал коня, похлопал его по шее, потом крикнул:

— Спокойной ночи, Аллан!

Аллан не ответил. Он вышел в прихожую, когда за открытой дверью был уже слышен удаляющийся топот копыт. Лошадь шла галопом.

— Чёткий топот копыт раздавался в долине!— проговорил Аллан, стараясь, чтобы ударения в словах совпадали с ударами лошадиных копыт. И повторил:— Чёткий топот копыт раздавался в долине!

Он вернулся в комнату, зажёг свечу, взял фолиант, опрокинул его над столом и потряс. Потом он перелистал весь фолиант по страницам. Записки, сделанной Грегори, не было. Аллан засмеялся:

— Я победил. Даже эту сухую подмётку. Пусть теперь пероет весь остров Джекиль. Там столько песка, что хватит копать на тысячу лет.

Аллан взял листок с цифрами. Это была страница, вырванная из школьной тетради. В неё Аллану завернули в какой-то лавчонке сыр — на бумаге остались жирные пятна.

«Бедный мальчик! Он никак не мог решить уравнение с двумя неизвестными».

Далёкий пушечный удар внезапно прокатился над океаном. Блеснул багровый свет.

Аллан погасил свечу и вгляделся в темноту. Что там происходит? Стремительная заря окрасила волны в мрачный цвет меди, и стал виден сорокапушечный корабль. Он шёл под полными парусами и вёл огонь. На его мачте вился чёрный флаг с изображением белой человеческой руки.

Блейк! Кого он преследует? Дым застилал волны. Да, конечно, это был Блейк, гость из прошлого века.

Но почему же он уже идёт от берега к дому Аллана, увязая в песке, и ветер треплет кружевные обшлага его камзола? Толстоносый Блейк с обожжённым лицом. Разбойник и шутник, придумавший изобразить человеческую руку на флаге.

«Мне будет легко сговориться с ним»,— сказал Аллан, закрыл глаза и положил голову на стол.

Стало темно и душно, но Аллан всё же видел, как в этой темноте равнина зацвела фиалками от края до края. Цветы испускали тонкий звук, будто в каждом была заложена маленькая струна.

«Да это же сон!— подумал с облегчением Аллан.— Какая сладкая отрава! Хочется жить, но нет сил ей сопротивляться. Вирджиния, уже зацвёл твой троицын цвет. Дай руку! Вот так. Почему она ледяная и я не узнаю твой голос? Я знаю каждый твой палец, потому что всем им я когда-то рассказывал по очереди

сказки. Что это за пропасть, куда меня тянет, как в Мальстрем?

Помоги мне! Открой мне глаза, Вирджиния!»

Утром к дому Аллана подошла робкая худенькая девушка — Чармен Бирн.

Ветер стих, но было пасмурно. Над океаном поблёскивала синева.

Чармен постучала, но никто не ответил. Она заметила, что дверь не заперта, и тихонько вошла в дом.

Худой человек небольшого роста сидел у стола. Голова его лежала на раскрытом фолианте.

— Мистер Аллан! — позвала Чармен.

Человек не ответил.

Тогда Чармен с бьющимся сердцем подошла к Аллану и подняла его голову. Он был мёртв.

Чармен с трудом уложила его на солдатскую койку.

На шее у Аллана висел на цепочке маленький медальон. Чармен открыла его. Там был портрет молодой женщины редкой красоты. Сбоку рукой Аллана было написано: «Моя мать».

Чармен наклонилась, осторожно взяла ладонями голову Аллана, нежно сжала её и поцеловала в губы.

Лицо Аллана было прекрасно. Казалось, никогда он не был достоин большей любви, чем сейчас.

Аллан был похоронен на песчаной дюне вблизи океана. На могиле его положили каменную плиту с его именем и надписью, что он прожил на этом свете всего сорок лет.

Через год после его смерти, в бурную и холодную ночь, к могиле подъехал на старом верховом коне доктор Грегори. Он соскочил с коня, оглянулся, подошёл к могиле, быстро вынул из-под плаща тяжёлый молоток и со всего размаху ударил им по могильной плите. Плита раскололась на несколько частей.

Конь, испугавшись удара, отскочил и помчался галопом вдоль берега. Грегори молча побежал за ним, но замешкался, чтобы закинуть молоток в океан. Потом и конь и Грегори исчезли.

Весной из трещин могильной плиты потянулись ростки троицына цвета, и вскоре вся плита покрылась тесной толпой этих лёгких цветов.

*1949*

Считается, что лучшая похвала для подвесного лодочного мотора — это сказать, что он работает, «как швейная машина».

Не знаю, как в других местах, но у нас на верхнем плёсе Оки это любимое выражение среди разного рода речных людей — бакенщиков, рыбаков, охотников и паромщиков.

Вообще, для похвалы у нас мало слов, а для того, чтобы обругать мотор, их находится множество: «керосинка», «тарахтелка», «дымовоз», «жестянка» и, наконец, самое обидное — «вонючка».

Мой мотор пока что работал, как швейная машина, капризничал очень редко, и даже решился отплыть на нём вниз по течению довольно далеко от дома. Такой риск позволяли себе не многие хозяева моторов. Никому не было охоты, если мотор забарахлит, идти на вёслах против течения. На некоторых перекатах Ока неслась так плавно и стремительно, что от одного взгляда на течение кружилась голова. Пески на мелких местах сплывали под днищем лодки, как вода.

Однажды я заехал очень далеко, в незнакомые и живописные места. По левому берегу тянулся лес, по правому — заросли лозы, переплетённые густой сеткой ежевики.

День был жаркий. В небе стояли белые громады кучевых облаков. Казалось, что облака не двигались, и только долго вглядываясь в них, я начинал замечать, что они медленно меняли свои очертания и как бы разрастались в вышину. Их ослепительные и твёрдые вершины уходили всё выше к зениту. Временами от этих нарастающих облаков долетал глухой и протяжный звук — не то очень далёкий и медленный гром, не то это проходил где-то на страшной высоте реактивный самолёт.

На реке надо всегда прислушиваться ко всяческим звукам. А тут ещё лето было грозовое. Грозы налетали как-то исподтишка, внезапно, предательски скрываясь за высокими речными крутоярами и поворотами берегов.

В знойные дни над далью стояло марево. Небо было затянуто мглой — сизой и настолько плотной, что через неё не просвечивали чёрные клубы грозовых туч и ха-

рактерные облачные валы с рваными жёлтыми космами, спускавшимися до самой земли.

По этой причине опытные рыболовы, стоя где-нибудь на якоре, «на камне», под берегом, не очень доверяли своему зрению, а старались ещё и прислушиваться.

Старый бакенщик со странным прозвищем «Бакена покрали» всегда говорил, что слух работает вернее, чем глаз. Старик уже собирался выйти «на пензию», жаловался, что зрение у него ослабло. «Надо думать,— говорил он,— от солнечной ряби на воде. Весь день глядишь на реку по характеру своей службы, а глаза — не казённые. Вот в них и начинают шнырить чёрные мухи».

Я упомянул прозвище бакенщика, а звали его по-настоящему Захаром Шашкиным. Следует, конечно, объяснить происхождение прозвища.

Лет десять назад случился с Захаром Шашкиным грех — напился он по случаю свадьбы сына, как говорят, «до восторга» и в таком состоянии поехал в сумерки зажигать бакены. Было их на участке у Шашкина всего семь: три белых и четыре красных. А в сторожке ещё допивали, догуливали гости — дружки и родичи из соседней деревни, тоже люди все речные, приехавшие на праздник на собственных лодках.

Уехал Захар, а через каких-нибудь пять минут видят гости, что он возвращается, что-то кричит, и лица на нём нет. Гости выскочили на крылечко и слышат, что кричит Захар непонятные и страшные слова:

— Бакена покрали! Нет бакенов!

Кричит, а сам плачет и утирает лицо своей серой кепкой. Гости, конечно, все — в лодки и полным ходом к бакенам. Ведь это, знаете, какое дело, если бакены, положим, покрали или они не горят. Это — государственное преступление. Понятно, что началась паника, крик, шум, по никому в голову не приходит, что на кой ляд нужны вору те бакены.

Всё в общем обошлось. Бакены оказались на месте. Их Шашкин спьяну просто не заметил. В сумерки тень режет реку надвое, и, бывает, бакен так в той тени прячется, что никак его не увидишь.

А Шашкин с тех пор начал жаловаться своим людям на ослабление глаз, жаловаться осторожно, чтобы не дошло до начальства.

Я стоял на якоре у самого лозняка, когда мимо меня торопливо проехал Шашкин и крикнул:

— Гроза заходит. С ветром. Приставайте к лесному берегу, вон — за мыском. Там изба стоит в лесу. Я тоже там укроюсь.

— Чья изба?— спросил я. До тех пор я что-то её не замечал.

— Святослава Рихтера, музыканта. А вы разве не знали? Московский музыкант. Жена у него певица. Только фамилию её не выговорю, трудная в обращении фамилия.

Я не знал об этом, да и не мог предполагать, что в такой безлюдной глуши поселился наш известный пианист. Снялся с якоря и поехал следом за Шашкиным. Забыл сказать, что уже несколько лет, как всем бакенщикам выдали казённые моторы для лодок. Сильные моторы, так что Шашкин меня опередил. Да я за ним и не гнался.

Я пристал вслед за Шашкиным к дощатому маленькому причалу. Он кругом зарос розовыми и высокими цветами иван-чая, и потому я его раньше не замечал.

За причалом стоял по крутому песчаному берегу густой смешанный лес, но никакой избы не было видно.

Вслед за Шашкиным я поднялся по косогору и тогда только увидел в зарослях совершенно крытую или маленькую избу. Она была заколочена, а на крытом крылечке висело на перильцах мохнатое полотенце.

— Ещё, знать, не приехал наш музыкант,— сказал Шашкин.— Инструмент с собой привезёт. Избушка, можно сказать, на курьих ножках, а на дверь поглядите — какая широкая. Чтобы инструмент можно было внести.

Шашкин потрогал полотенце.

— Забыли, знать, с осени. Ишь, как его выбелило дождём да солнцем — красота. Да нешто вы не знали, что у нас здесь музыкант живёт? Душа-человек! Однако не любит, чтобы ему мешали играть. Здесь за лесом деревня наша. Километров до неё пять, не больше. Наши деревенские — народ понятливый и уважительный. И музыку любят. Близко к избе не подходят, а ежели и придут послушать музыку, так или в кустах хоронятся, или слушают с реки. Бывает, устанут с колхозной

работы, повечеряют дома и сюда пробираются — охота послушать. Я этого, скажу вам грубо, не понимал. Чего в ней, в той музыке? Ну, гармонь, конечно, дело привычное. А то — рояль! Сроду я его не слыхал. Только по радио, а оно у нас хрипучее. Да! А все об этом рояле говорят с уважением. Значит, есть в нём какая-то сердцевина. Зря народ не будет из-за музыки беспокоиться, как наша молодёжь, скажем, беспокоится. Ведь до чего дошло! Каждый день караулят, особенно девушки, когда он заиграет. И ещё потом, понимаете, спорят между собой, чего он играл. Одна говорит то-то, а другая — то-то!

Так вот слушайте, как я до понимания музыки дошёл. Просто, скажу, по счастливому случаю. Как-то ночью поехал я верши проверить. Ночь была июньская, как сейчас, довольно светлая, и заря никак не желала погаснуть, а всё тлела себе тихонько по-над землёй. Лес за поворотом открылся на горе, этот самый лес. Он густой, липы в нём много, редчайший, можно сказать, лес — весь стоит в темноте, в росе, в тишине. Я, значит, вёсла бросил, закурил. Лодка у меня сама по течению плывёт. И вдруг, поверите ли, вздрогнул я весь, будто меня обожгло: из леса, из той темноты и тишины зазвенели будто сотни колокольчиков. Таким, знаете, лёгким переливом, а потом рассыпались по лесу, будто голубиная стая по грозовой туче. И запел лес как-то громко, будто человек, что вертается с далёкой стороны и даёт, значит, знать незнамо кому, может, жене иль невесте-красавице, что подходит до родного дому. Хлынуло на меня, понимаешь, мыслями, а тут ещё кажется, что весь лес, и вода в Оке до самого дна, и небо, и все листья — всё поёт, всё тебя берёт за сердце и уводит незнамо куда. Стыдно сказать, вам одному признаюсь: заплакал я, всю жизнь вспомнил, что в ней было и плохого, и хорошего. И от тех слёз вроде растаял лёд на сердце. А то я его, почитай, всё своё существование на груди у себя носил, чувствовал. С тех пор, как музыкант приезжает, почитай, каждый день сюда приволакиваюсь, жду. Вот какие дела! И охота мне съездить хоть разок в Москву, послушать тамошнюю музыку. Кто был в Москве, говорят, что здесь один инструмент, а там целый симпанический оркестр, инструментов десять, а то и все двадцать. Душа не может выдержать той музыки.

Шашкин помолчал, смущённо потёр лоб, потом взглянул на небо.

— Вроде стороной проходит. Я, пожалуй, поеду. А вы как располагаете?

— Я, пожалуй, останусь ...

Шашкин уехал. Я вышел к берегу, прикинул, куда идёт гроза, и увидел, что она идёт прямо на лес и избу Рихтера. Шашкин уже исчез за поворотом.

Надо было переждать грозу. Я вернулся к избе, сел на терраске на пол, прислонился спиной к заколоченной двери и приготовился остаться с глазу на глаз с грозой. И подумал, что всё к лучшему. Если бы Шашкин остался, то неизбежно начались бы разговоры, и я ничего бы толком не увидел. А мне хотелось проследить весь ход грозы от самого начала до конца, не пропуская ни одной перемены.

И гроза, как говорят мальчишки, выдала мне весь свой блеск и всю красоту.

Потемнело. Низко, с тревожными криками пронеслись в глубь леса испуганные птицы. Внезапная молния судорожно передёрнула небо, и я увидел над Окой тот дымный облачный вал, что всегда медленно катится впереди сильной грозы.

Потом ещё потемнело, и так сильно, что ногти у меня на загорелых руках показались ослепительно белыми как это бывает ночью.

Небо дохнуло резким холодом мирового пространства. И издалека, всё приближаясь, как бы всё пригибая на своём пути, начал катиться медленный и важный гром. Он сильно встряхивал землю.

Вихри туч опустились к земле, как тёмные свитки, и вдруг случилось чудо — солнечный луч прорвался сквозь тучи, косо упал на леса, и тотчас хлынул торопливый, подстёгнутый громами, тоже косой и широкий ливень.

Он гудел, веселился, колотил с размаху по листьям и цветам, набирал скорость, стараясь перегнать самого себя. Лес сверкал и дымился от счастья.

После грозы я вычерпал лодку и поехал домой. Вечерело. И вдруг в сыроватой после дождя прохладе я почувствовал, как несётся волнами вдоль реки удивительный опьяняющий запах цветущих лип. Как будто где-то рядом зацвели на сотни километров липовые парки и леса.

В этом запахе была свежесть ночи, запах холодных девичьих рук, целомудрие и нежность.

И я понял внезапно, как понял Шашкин музыку, как мила наша земля и как мало у нас слов, чтобы выразить её прелесть.

## УСНУВШИЙ МАЛЬЧИК

С вокзала до пристани пришлось идти через весь городок. Недавно прошёл лёд, и река широко отблескивала жёлтой водой. Была самая ранняя весна — сухая и серая. Только на сирени в палисадниках уже зеленели почки.

Можно было, конечно, взять у вокзала дребезжащее, повидавшее виды такси, но времени до отхода речного катера оставалось ещё много, и гораздо приятнее было медленно пройти через весь город,— мимо сводчатых торговых рядов, по кирпичному мосту над оврагом, где шумел, пенясь, ручей и бродили, приглядываясь к мусорной земле, надменные грачи, мимо маленькой электростанции, пыхтевшей мазутным дымом из высокой железной трубы, мимо домиков с такими чистыми окнами, что с улицы были хорошо видны освещённые утренним солнцем фикусы, олеографии запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, горки с посудой и спящие на креслах коты.

В голых окраинных садах сидели на покосившихся скворечнях и сипло посвистывали, отогреваясь, скворцы.

Возле пристани стоял катер, отдохнувший и умытый после зимней спячки,— свежевыкрашенный, с начисто протёртыми стёклами и синей полосой на белой трубе.

Пассажиры подходили редко и медленно. Поэтому молодой капитан катера в сплюснутой блином форменной фуражке, женщина-матрос в ватнике и растрёпанный моторист с неизменным пучком пакли в руке встречали каждого нового пассажира, как доброго родственника. Даже появление угрюмой женщины с мешком на плече, где ходуном ходили и отвратительно визжали поросята, не вызвало у них обычного недовольства.

Потом пришла девица с копной светлых, завитых барашком волос и непоправимо обиженным лицом. На

все попытки капитана и моториста заговорить с ней, она отвечала сухим голосом:

— Я в ваших разговорчиках, гражданин, не нуждаюсь.

Последним пришёл знакомый садовник из нашего городка, что был расположен в тридцати километрах вверх по реке. Садовник был человек суетливый и разговорчивый. Жители городка добродушно, но несколько насмешливо, звали его Левкоем Нарцисовичем, хотя имя у садовника было Леонтий, а отчество Назарович.

Леонтий Назарович всю жизнь был обуреваем великой мечтой превратить родной городок в сплошной сад и цветник или, как он выражался, в «вертоград».

Каждый посаженный им куст акации или сирени, по его словам, был совершенно необыкновенного сорта, особо пышного цветения и дивного благоухания. На деле всё это было несколько не так, но Леонтий Назарович этим не смущался, и благородный его пыл от этого не ослабевал.

Леонтий Назарович был человек не только разговорчивый, но и весьма быстрый и щуплый. Он носил и лето и зиму старую жокейскую кепку и, кроме того, сломанные очки. Одной дужки очков всегда не хватало. Леонтий Назарович заменял её тесёмкой. Купить новую оправу ему было некогда. На замечания знакомых по поводу сломанных очков Леонтий Назарович всегда торопливо отвечал:

— И не просите! Некогда! Я сейчас новый сквер разбиваю, едва вымолил разрешение у горсовета. Какие там к чёрту очки!

В этих словах была, конечно, какая-то доля рисовки, но её Леонтию Назаровичу охотно прощали.

Леонтий Назарович всегда с кем-нибудь воевал из-за новых посадок, доказывал, спорил, уничтожал противников ссылками на таких людей, о каких в нашем городке никто не имел понятия,— на знаменитого создателя великолепных парков Гонзаго, на видных ботаников, но чаще всего на профессора Климентия Аркадьевича Тимирязева («Видали небось фильм о нём— «Депутат Балтики», а возражаете против прямой очевидности, что надо каждый клочок земли непременно озеленить»).

Но больше всего воевал Леонтий Назарович с женой — рыхлой и сонной женщиной, весь день позёвывавшей от скуки. Она считала, что Леонтий Назарович закис в ничтожном городке, тогда как мог бы работать садовником если не в Кремле, то по крайности в Летнем саду в Ленинграде.

С весны до поздней промозглой осени Леонтий Назарович возился в скверах и на прибрежном бульваре, а зимой писал историю своего городка. Он очень ею увлекался. Начал он эту историю со времени наполеоновских войн, так как считал, что всё, бывшее до этих войн,— недостоверно.

Городок стоял высоко над Окой среди таких просторов, что от них иной раз захватывало сердце.

Живописность самого городка и окружающих лесов, рощ, полей и деревень издавна привлекала сюда художников, считавших все эти места наилучшим выражением русской природы. Поэтому в истории города самое видное место Леонтий Назарович отводил художникам. Живопись он любил, охотно читал книги по искусству и жадно собирал репродукции.

Сейчас Леонтий Назарович вёз из областного города саженцы жасмина и семена однолетних цветов.

У Леонтия Назаровича была своя теория об исключительно благотворном влиянии растительности на человеческую психику. На катере он как раз завёл разговор на эту тему к неудовольствию девицы в кудряшках. Она всё время передёргивала плечиками и насмешливо кривила губы.

Катер подвалил к бывшей усадьбе художника Поленова. Она стояла, как оазис, среди сухих берегов, разрушенных взрывами. По всем берегам реки рвали бутовый камень. На пыльных откосах от недавних сосновых лесов не осталось не то что деревца, но даже травинки.

Взрывы сотрясали всю округу, расшатывали постройки, заваливали судоходную реку щебёнкой, съедали растительность, и казалось, что по берегам реки быстро расползается сухая экзема.

— Удручающая картина!— сказал мне Леонтий Назарович.— А всё от скопидомства. Камня этого всюду достаточно. Однако беспощадно рвут берега потому, что отсюда вывозить камень на какие-то копейки дешевле.

Мы отвели душу, изругали невежественных хозяйственников, которые руководствуются одним только правилом «после нас — хоть потоп». Потом поговорили о Поленове (Леонтий Назарович был с ним знаком) и вспомнили великолепного художника Борисова-Мусатова, жившего и умершего в нашем городке и похороненного на косогоре над самой Окой.

Борисов-Мусатов любил этот косогор. С него он написал один из лучших своих пейзажей — такой тонкий и задумчивый, что он мог бы показаться сновидением, если бы не чувствовалось, что каждый жёлтый листок берёзы прогрет последним солнечным теплом.

В такие осенние дни, как на этой картине, всегда хочется остановить время хотя бы на несколько дней, чтобы медленнее слетали последние листья и не исчезала так скоро у нас на глазах прощальная красота земли.

И вот добрый горбун — художник Борисов-Мусатов остановил эту прелестную осень, чем-то похожую в моём представлении на девушку со светлыми и строгими глазами, обещающими горе и счастье.

На могиле Борисова-Мусатова поставлен надгробный памятник работы скульптора Матвеева — на плите из крупнозернистого красного песчаника лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик. Скульптура сделана с необыкновенной силой и мастерством.

Когда я был последний раз на могиле Борисова-Мусатова, изгородь валялась сломанная, возле памятника паслись козы и, поглядывая на меня жёлтыми наглыми глазами, сдирали начисто кору с соседнего куста бузины...

Я рассказал об этом Леонтию Назаровичу, но он как будто пропустил мимо ушей мои слова и, чтобы переменить разговор, начал расспрашивать меня о моей недавней поездке на Запад.

— Был ли у вас,— спросил меня Леонтий Назарович,— какой-нибудь интересный случай, касающийся цветов и растительности? Очень я люблю такие истории.

Я рассказал ему о голландском рыбачьем посёлке Шевенингене. Мы приехали туда в сумерки. Северное море шумело у широкой дамбы. Тусклый туман расползался над водой. Из этого тумана доносился печальный звон колоколов на плавучих бакенах. В тесной гавани

на рыболовных ботах были развёрнуты для просушки разноцветные паруса, штабелями лежали бочонки из-под рыбы, и женщины и дети, одетые во всё чёрное, стучали по булыжной набережной деревянными туфлями — сабо.

Быстро темнело. На дамбе зажёгся старый маяк и начал равномерно швырять по горизонту вертящийся луч своего огня. Вслед за маяком на дамбе невдалеке от посёлка вспыхнул сотнями огней стеклянный ночной ресторан. Сюда приезжали кутить из Гааги, Амстердама и даже из Брюсселя. Мы подошли к ресторану. Около него стояла огромная грузовая машина, окружённая толпой детей. Лакеи во фраках выгружали из машины вазоны с гиацинтами.

Свет маяка проносился над цветами, и они казались совершенно фантастическими по своей окраске. Там были гиацинты будто из воска и старого золота, из бирюзы и снега, из красного вина и чёрного бархата.

Дети смотрели на цветы, как зачарованные. Высокий шофёр стоял, прислонившись к капоту машины, и курил фарфоровую трубку. Он будто нечаянно толкнул одного из лакеев, похожего на Оскара Уайльда. Лакей уронил вазон. Шофёр поднял золотой гиацинт с комом земли, отряхнул землю и протянул цветок худенькой девочке с длинной светлой косой, особенно заметной на её чёрном платье.

Девочка присела, схватила цветок и побежала с ним к посёлку. За ней бросились, смеясь и перекликаясь, все дети.

Луч маяка пронёсся над головой бегущей девочки, рассеянный свет упал на её волосы, и мне вся эта сцена представилась главой из ещё не написанной сказки о бледно-золотом цветке, осветившем своим таинственным огнём рыбачью лачугу.

Лакей посмотрел в упор на шофёра. Шофёр усмехнулся и пожал плечами. Потом они засмеялись, дружелюбно похлопали друг друга по плечу и разошлись.

А в ресторане за матовой стеклянной стеной пел джаз и пахло гиацинтами и травянистой весной.

— Да,— сказал Леонтий Назарович, выслушав этот рассказ,— у нас в жизни человеческой многое ещё не обдумано.

— Что, например?— спросил я.

— Да я всё об этих цветах,— ответил задумчиво

Леонтий Назарович.— Жизнь человеческая должна быть украшена. Обязательно. Глупое выражение, что жизнь наша — жестянка, надо давно позабыть. Цветы и всё прочее, отрадное для души и глáза, должно сопровождать нас на нашем житейском поприще. От этого человек становится не в пример великодушнее.

Катер подошёл к нашему городку, ткнулся носом в скользкий после разлива берег, и мы с Леонтием Назаровичем сошли по узкой доске.

— Вы давно были на могиле Борисова-Мусатова?— спросил меня Леонтий Назарович, остановившись со мной под вековой ивой. Она казалась не деревом, а мощным архитектурным сооружением, каким-то кряжистым собором, облицованным серой корой.

— Прошлой осенью.

— Что же это вы!— сказал с упрёком Леонтий Назарович.— Знаменитых своих земляков забываете. А за компанию на катере — спасибо. Утешили вы меня этим рассказом о девочке.

Мы распрощались. Я решил зайти на могилу Борисова-Мусатова сейчас, благо она была недалеко от пристани.

Ещё издали, подходя к могиле, я заметил, что она окружена новой изгородью. Внутри всё было прибрано, и большой полукруг недавно посаженных кустарников замыкал фигуру спящего мальчика, отмытую от глины.

Через два дня я встретил Леонтия Назаровича на береговом бульваре, где он высаживал кусты жасмина. Мы сели покурить на скамейку над рекой. С огородов тянуло навозом, дымком, и непрерывно горланили петухи — радовались тёплой весне.

И я рассказал Леонтию Назаровичу ещё одну маленькую историю о гробнице Рафаэля в Риме и о старом стороже этой гробницы, который каждую неделю покупал из своего скудного заработка цветы и клал их на гробницу. Там было погребено нежное и доброе сердце великого итальянца.

— Я так понимаю,— сказал мне Леонтий Назарович,— что вы это специально для меня рассказали. Спасибо на добром слове. В поступке этого бедняка-итальянца я вижу большую человечность в обширном понимании этого слова.

— Большую человечность,— повторил он и вздох-

нул.— На ней только и может держаться наша всеобщая жизнь.

Конечно, он не сказал ни слова о том, что украсил могилу Борисова-Мусатова.

Из-за дальнего лесистого поворота реки показался знакомый катер. Издали он казался отражением в реке одного из облаков, проплывавших над нами в весеннем небе.

*1957*

## МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ

Не помню, кто из поэтов сказал: «Поэзия всюду, даже в траве. Надо только нагнуться, чтобы поднять её».

Было раннее утро. Накрапывал дождь. Телега въехала в вековой сосновый лес. В траве, на обочине дороги, что-то белело.

Я соскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую вьюнком. На ней была надпись чёрной краской. Я отвёл мокрые стебли вьюнка и прочёл почти забытые слова: «В разны годы под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я».

— Что это?— спросил я возницу.

— Михайловское,— улыбнулся он.— Отсюда начинается земля Александра Сергеича. Тут всюду такие знаки поставлены.

Потом я натыкался на такие дощечки в самых неожиданных местах: в некошеных лугах над Соротью, на песчаных косогорах по дороге из Михайловского в Тригорское, на берегах озёр Маленца и Петровского — всюду звучали из травы, из вереска, из сухой земляники простые пушкинские строфы. Их слушали только листья, птицы да небо — бледное и застенчивое псковское небо. «Прощай, Тригорское, где радость меня встречала столько раз». «Я вижу двух озёр лазурные равнины».

Однажды я заблудился в ореховой чаще. Едва заметная тропинка терялась между кустами. Должно быть, по этой тропинке раз в неделю пробегала босая девочка с кошёлкой черники. Но и здесь, в этой заросли, я увидел белую дощечку. На ней была выдержка из

письма Пушкина к Осиповой: «Нельзя ли мне приобрести Савкино? Я построил бы здесь избушку, поместил бы свои книги и приезжал бы проводить несколько месяцев в кругу моих старых и добрых друзей».

Почему эта надпись очутилась здесь, я не мог догадаться. Но вскоре тропинка привела меня в деревушку Савкино. Там под самые крыши низких изб подходили волны спелого овса. В деревушке не было видно ни души; только чёрный пёс с серыми глазами лаял на меня из-за плетня, и тихо шумели вокруг на холмах кряжистые сосны.

Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское. Там было пустынно и тихо. В вышине шли облака. Под ними, по зелёным холмам, по озёрам, по дорожкам столетнего парка, проходили тени. Только гудение пчёл нарушало безмолвие.

Пчёлы собирали мёд в высокой липовой аллее, где Пушкин встретился с Анной Керн. Липы уже отцветали. На скамейке под липами часто сидела с книгой в руках маленькая весёлая старушка. Старинная бирюзовая брошь была приколота к вороту её блузки. Старушка читала «Города и годы» Федина. Это была внучка Анны Керн — Аглая Пыжевская, бывшая провинциальная драматическая актриса.

Она помнила свою бабку и охотно рассказывала о ней. Бабку она не любила. Да и мудрено было любить эту выжившую из ума столетнюю старуху, ссорившуюся со своими внучками из-за лучшего куска за обедом. Внучки были сильнее бабки, они всегда отнимали у нее лучшие куски, и Анна Керн плакала от обиды на мерзких девчонок.

Первый раз я встретил внучку Керн на сыпучем косогоре, где росли когда-то три знаменитых сосны. Их сейчас нет. Ещё до революции две сосны сожгла молния, а третью спилил ночью мельник-вор из сельца Зимари.

Работники пушкинского заповедника решили посадить на месте старых три новых, молодых сосны. Найти место старых сосен было трудно: от них не осталось даже пней. Тогда созвали стариков колхозников, чтобы точно установить, где эти сосны росли.

Старики спорили весь день. Решение должно было

быть единодушным, но трое стариков из Дериглазова шли наперекор. Когда дериглазовских, наконец, уломали, старики начали мерить шагами косогор, прикидывать и только к вечеру сказали:

— Тут! Это самое место! Можете сажать.

Когда я встретил внучку Керн около трех недавно посаженных молоденьких сосен, она поправляла изгородь, сломанную коровой.

Старушка рассказала мне, посмеиваясь над собой, что вот прижилась в этих пушкинских местах, как кошка, и никак не может уехать в Ленинград. А уезжать давно пора. В Ленинграде она заведовала маленькой библиотекой на Каменном острове. Жила она одна, ни детей, ни родных у неё не было.

— Нет, нет,— говорила она,— вы меня не отговаривайте. Обязательно приеду сюда умирать. Так эти места меня очаровали, что я больше жить нигде не хочу. Каждый день придумываю какое-нибудь дело, чтобы оттянуть отъезд. Вот теперь хожу по деревням, записываю все, что старики говорят о Пушкине. Только врут старики,— добавила она с грустью.— Вчера один рассказывал, как Пушкина вызвали на собрание государственных держав и спросили: воевать ли с Наполеоном, или нет. А Пушкин им и говорит: «Куды вам соваться-то воевать, почтенные государственные державы, когда у вас мужики всю жизнь в одних и тех же портках ходят. Не осилите!»

Внучка Керн была неутомима. Я встречал её то в Михайловском, то в Тригорском, то в погосте Вороничи, на окраине Тригорского, где я жил в пустой прохладной избе. Всюду она бродила пешком — в дождь и в жару, на рассвете и в сумерки.

Она рассказывала о своей прошлой жизни, о знаменитых провинциальных режиссёрах и спившихся трагиках (от этих рассказов оставалось впечатление, что в старые времена были талантливы одни только трагики) и, наконец, о своих романах.

— Вы не смотрите, что я такая суетливая старушка,— говорила она.— Я была женщина весёлая, независимая и красивая. Я могла бы оставить после себя интересные мемуары, да всё никак не соберусь написать. Кончу записывать рассказы стариков, буду готовиться к летнему празднику.

Летний праздник бывает в Михайловском каждый

год в день рождения Пушкина. Сотни колхозных телег, украшенных лентами и валдайскими бубенцами, съезжаются на луг за Соротью, против пушкинского парка.

На лугах жгут костры, водят хороводы. Поют старые песни и новые частушки:

Наши сосны и озёра
Очень замечательны.
Мы Михайловские рощи
Бережём старательно.

Все местные колхозники гордятся земляком Пушкиным и берегут заповедник не хуже, чем свои огороды и поля.

Я жил в Вороничах у сторожа тригорского парка Николая. Хозяйка весь день швырялась посудой и ругала мужа: больно ей нужен такой мужик, который день и ночь прирос к этому парку, домой забегает на час-два, да и то на это время посылает в парк караулить старика тестя или мальчишек.

Однажды Николай зашёл домой попить чаю. Не успел он снять шапку, как со двора ворвалась растрёпанная хозяйка.

— Иди в парк, шалый!— закричала она.— Я на речке бельё полоскала, гляжу, какой-то шпанёнок ленинградский прямо в парк прётся. Как бы беды не наделал!

— Что он может сделать?— спросил я.

Николай выскочил за порог.

— Мало ли что,— ответил он на ходу.— Не ровен час, ещё ветку какую сломает.

Но всё окончилось благополучно. «Шпанёнок» оказался известным художником Натаном Альтманом, и Николай успокоился.

В пушкинском заповеднике три огромных парка: Михайловский, Тригорский и Петровский. Все они отличаются друг от друга так же, как отличались их владельцы.

Тригорский парк пропитан солнцем. Такое впечатление остаётся от него почему-то даже в пасмурные дни. Свет лежит золотыми полянами на весёлой траве, зелени лип, обрывах над Соротью и на скамье Евгения Онегина. От этих солнечных пятен глубина парка, погруженная в летний дым, кажется таинственной и нереальной. Этот парк как будто создан для семейных праздников,дружеских бесед, для танцев при свечах под

чёрными шатрами листьев, девичьего смеха и шутливых признаний. Он полон Пушкиным и Языковым.

Михайловский парк — приют отшельника. Это парк, где трудно веселиться. Он создан для одиночества и размышлений. Он немного угрюм со своими вековыми елями, высок, молчалив и незаметно переходит в такие же величественные, как и он сам, столетние и пустынные леса. Только на окраинах парка сквозь сумрак, всегда присутствующий под сводами старых деревьев, вдруг откроется поляна, заросшая блестящими лютиками, и пруд с тихой водой. В него десятками сыплются маленькие лягушки.

Главная прелесть Михайловского парка в обрыве над Соротью и в домике няни Арины Родионовны — единственном домике, оставшемся от времён Пушкина. Домик так мал и трогателен, что даже страшно подняться на его ветхое крыльцо. А с обрыва над Соротью видны два синих озера, лесистый холм и наше вековечное скромное небо с уснувшими на нём облаками.

В Петровском парке был дом пушкинского деда — строптивого и мрачного Ганнибала. Петровский парк хорошо виден из Михайловского за озером Кучане (оно же Петровское). Он чёрен, сыр, зарос лопухами, в него входишь, как в погреб. В лопухах пасутся стреноженные лошади. Крапива глушит цветы, а по вечерам парк стонет от гомона лягушек. На вершинах тёмных деревьев гнездятся хриплые галки.

Как-то на обратном пути из Петровского в Михайловское я заблудился в лесных оврагах. Бормотали под корнями ручьи, на дне оврага светились маленькие озёра. Солнце садилось. Неподвижный воздух был красноват и горяч.

С одной из лесных полян я увидел высокую многоцветную грозу. Она подымалась над Михайловским, росла на вечернем небе, как громадный средневековый город, окружённый белыми башнями. Глухой пушечный гром долетал от неё, и ветер вдруг прошумел на поляне и затих в зарослях.

Трудно было представить себе, что по этим простым дорогам со следами лаптей, по муравейникам и узловатым корням шагал пушкинский верховой конь и легко нёс своего молчаливого всадника.

Я вспоминаю леса, озёра, парки и небо. Это почти единственное, что уцелело здесь от пушкинских времён.

Здешняя природа не тронута никем. Её очень берегут. Когда понадобилось провести в заповедник электричество, то провода решили вести под землёй, чтобы не ставить столбов. Столбы сразу бы разрушили пушкинское очарование этих пустынных мест.

В погосте Вороничи, где я жил, стояла деревянная ветхая церковь. Все её звали церквушкой. Иначе и нельзя было назвать эту нахохленную, заросшую по крышу жёлтыми лишаями церковь, едва заметную сквозь гущу бузины. В этой церкви Пушкин служил панихиду по Георгу Байрону.

Паперть церкви была засыпана смолистыми сосновыми стружками. Рядом с церковью строили школу.

Один только раз за всё время, пока я жил в Вороничах, приковылял к церкви горбатый священник в рваной соломенной шляпе. Он осторожно прислонил к липе ореховые удочки и открыл тяжёлый замок на церковных дверях. В тот день в Вороничах умер столетний старик, и его принесли отпевать. После отпевания священник снова взял свои удочки и поплёлся на Сороть — ловить голавлей и плотиц.

Плотники, строившие школу, поглядели ему вслед, и один из них сказал:

— Сничтожилось духовное сословие! При Александре Сергеиче в Вороничах был не поп, а чистый бригадный генерал. Вредный был иерей. Недаром Александр Сергеич и прозванье ему придумал «Шкода». А на этого поглядишь — совсем Кузька, одна шляпа над травой мотается.

— Куда только их сила подевалась?— пробормотал другой плотник.— Где теперя их шелка-бархата?

Плотники вытерли потные лбы, застучали топорами, и на землю полетели дождём свежие, пахучие стружки.

В Тригорском парке я несколько раз встречал высокого человека. Он бродил по глухим дорожкам, останавливался среди кустов и долго рассматривал листья. Иногда срывал стебель травы и изучал его через маленькое увеличительное стекло.

Как-то около пруда, вблизи развалин дома Осиповых, меня застал крупный дождь. Он внезапно и весело зашумел с неба. Я спрятался под липой, и туда же не спеша пришёл высокий человек. Мы разговорились. Человек этот оказался учителем географии из Череповца.

— Вы, должно быть, не только географ, но и ботаник? — сказал я ему. — Я видел, как вы рассматривали растения.

Высокий человек усмехнулся:

— Нет, я просто люблю искать в окружающем что-нибудь новое. Здесь я уже третье лето, но не знаю и малой доли того, что можно узнать об этих местах.

Говорил он тихо, неохотно. Разговор оборвался.

Второй раз мы встретились на берегу озера Маленец, у подножия лесистого холма. Как во сне шумели сосны. Под их кронами качался от ветра лесной полусвет. Высокий человек лежал в траве и рассматривал сквозь увеличительное стекло голубое перо сойки. Я сел рядом с ним, и он, усмехаясь и часто останавливаясь, рассказал мне историю своей привязанности к Михайловскому.

— Мой отец служил бухгалтером в больнице в Вологде, — сказал он. — В общем, был жалкий старик — пьяница и хвастун. Даже во время самой отчаянной нужды он носил застиранную крахмальную манишку, гордился своим происхождением. Он был обрусевший литвин из рода каких-то Ягеллонов. Под пьяную руку он порол меня беспощадно. Нас было шестеро детей. Жили мы все в одной комнате, в грязи и беспорядке, в постоянных ссорах и унижении. Детство было отвратительное. Когда отец напивался, он начинал читать стихи Пушкина и рыдать. Слёзы капали на его крахмальную манишку, он мял её, рвал на себе и кричал, что Пушкин — это единственный луч солнца в жизни таких проклятых нищих, как мы. Он не помнил ни одного пушкинского стихотворения до конца. Он только начинал читать, но ни разу не оканчивал. Это меня злило, хотя мне было тогда всего восемь лет и я едва умел разбирать печатные буквы. Я решил прочесть пушкинские стихи до конца и пошёл в городскую библиотеку. Я долго стоял у дверей, пока библиотекарша не окликнула меня и не спросила, что мне нужно.

— Пушкина, — сказал я грубо.

— Ты хочешь сказки? — спросила она.

— Нет, не сказки, а Пушкина, — повторил я упрямо.

Она дала мне толстый том. Я сел в углу у окна, раскрыл книгу и заплакал. Я заплакал потому, что только сейчас, открыв книгу, я понял, что не могу прочесть её, что я совсем ещё не умею читать и что за

этими строчками прячется заманчивый мир, о котором рыдал пьяный отец. Со слов отца я знал тогда наизусть всего две пушкинские строчки: «Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края»,— но этого для меня было довольно, чтобы представить себе иную жизнь, чем наша. Вообразите себе человека, который десятки лет сидел в одиночке. Наконец ему устроили побег, достали ключи от тюремных ворот, и вот он, подойдя к воротам, за которыми свобода, и люди, и леса, и реки, вдруг убеждается, что не знает, как этим ключом открыть замок. Громадный мир шумит всего в сантиметре за железными листами двери, но нужно знать пустяковый секрет, чтобы открыть замок, а секрет этот беглецу неизвестен. Он слышит тревогу за своей спиной, знает, что его сейчас схватят и что до смерти будет всё то же, что было: грязное окно под потолком камеры, вонь от крыс и отчаяние. Вот примерно то же самое пережил я над томом Пушкина. Библиотекарша заметила, что я плачу, подошла ко мне, взяла книгу и сказала:

— Что ты, мальчик? О чём ты плачешь? Ведь ты и книгу-то держишь вверх ногами!

Она засмеялась, а я ушёл. С тех пор я полюбил Пушкина. Вот уже третий год приезжаю в Михайловское.

Высокий человек замолчал. Мы долго ещё лежали на траве. За изгибами Сороти, в лугах, едва слышно пел рожок.

В нескольких километрах от Михайловского, на высоком бугре, стоит Святогорский монастырь. Под стеной монастыря похоронен Пушкин. Вокруг монастыря посёлок — Пушкинские Горы.

Посёлок завален сеном. По громадным булыжникам день и ночь медленно грохочут телеги: свозят в Пушкинские Горы сухое сено. От лабазов и лавок несёт рогожами, копчёной рыбой и дешёвым ситцем. Ситец пахнет, как столярный клей.

Единственный трактир звенит жидким, но непрерывным звоном стаканов и чайников. Там до потолка стоит пар, и в этом пару неторопливо пьют чай с краюхами серого хлеба потные колхозники и чёрные старики времён Ивана Грозного. Откуда берутся здесь эти старики — пергаментные, с пронзительными глазами, с глухим, каркающим голосом, похожие на юродивых,— никто не знает. Но их много. Должно быть, их было ещё

больше при Пушкине, когда он писал здесь «Бориса Годунова».

К могиле Пушкина надо идти через пустынные монастырские дворы и подыматься по выветренной каменной лестнице. Лестница приводит на вершину холма, к обветшалым стенам собора.

Под этими стенами, над крутым обрывом, в тени лип, на земле, засыпанной пожелтевшими лепестками, белеет могила Пушкина.

Короткая надпись «Александр Сергеевич Пушкин», безлюдье, стук телег внизу под косогором и облака, задумавшиеся в невысоком небе,— это всё. Здесь конец блистательной, взволнованной и гениальной жизни. Здесь могила, известная всему человечеству, здесь тот «милый предел», о котором Пушкин говорил ещё при жизни. Пахнет бурьяном, корой, устоявшимся летом.

И здесь, на этой простой могиле, куда долетают хриплые крики петухов, становится особенно ясно, что Пушкин был первым у нас народным поэтом.

Он похоронен в грубой песчаной земле, где растут лён и крапива, в глухой народной стороне. С его могильного холма видны тёмные леса Михайловского и далёкие грозы, что ходят хороводом над светлой Соротью, над Савкиным, над Тригорским, над скромными и необъятными полями, несущими его обновлённой милой земле покой и богатство.

*1936*

## НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ

Осень в этом году стояла — вся напролёт — сухая и тёплая. Берёзовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка (её зовут в народе «мга») затягивала плёсы на Оке и отдалённые леса.

«Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь неё проступали, как через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных озимей.

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд.

Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли всё пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли.

Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянули один за другим прямо к югу. Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки, летели к тёплой стране с элегическим именем Таврида.

Я бросил вёсла и долго смотрел на журавлей. По береговой просёлочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофёр остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей.

— Счастливо, друзья!—крикнул он и помахал рукой вслед птицам.

Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор, должно быть, чтобы не заглушать затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло, высунулся и всё смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. И всё слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землёй.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении.

Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание».

Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелёт по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?

Птицы прощались со Средней Россией, с её болотами и чащами. Оттуда уже сочился осенний воздух, сильно отдающий вином.

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью.

Каждый лист был совершенным творением природы, произведением её таинственного искусства, недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

Я пустил лодку по течению. Лодка медленно про-

плывала мимо старого парка. Там белел среди лип небольшой дом отдыха. Его ещё не закрыли на зиму. Оттуда доносились неясные голоса. Потом кто-то включил в доме магнитофон, и я услышал знакомые томительные слова:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!

«Вот,— подумал я,— ещё один шедевр, печальный и старинный».

Должно быть, Баратынский, когда писал эти стихи, не думал, что они останутся навеки в памяти людей.

Кто он, Баратынский, измученный жестокой судьбой? Волшебник? Чудотворец? Колдун? Откуда пришли к нему эти слова, наполненные горечью минулого счастья, былой нежности, всегда прекрасной в своём отдалении?

В стихах Баратынского заключён один из верных признаков шедевра — они остаются жить в нас надолго, почти навсегда. И мы сами обогащаем их, как бы додумываем вслед за поэтом, дописываем то, что не досказал он.

Новые мысли, образы, чувства теснятся в голове. Каждая строка стихов разгорается, подобно тому как с каждым днём сильнее бушуют осенним пламенем громады лесов за рекой. Подобно тому как расцветает вокруг небывалый сентябрь.

Очевидно, свойство истинного шедевра — делать и нас равноправными творцами вслед за его подлинным создателем.

Я сказал, что считаю шедевром лермонтовское «Завещание». Это, конечно, так. Но ведь почти все стихи Лермонтова — шедевры. И «Выхожу один я на дорогу...», и «Последнее новоселье», и «Кинжал», и «Не смейся над моей пророческой тоскою...», и «Воздушный корабль». Нет надобности их перечислять.

Кроме стихотворных шедевров, Лермонтов оставил нам и прозаические — такие, как «Тамань». Они наполнены, как и стихи, жаром его души. Он сетовал, что безнадёжно растратил этот жар в великой пустыне своего одиночества.

Так он думал. Но время показало, что он не бросил

на ветер ни одной крупицы этого жара. Многие поколения будут любить каждую строчку этого бесстрашного и в бою и в поэзии, некрасивого и насмешливого офицера. Наша любовь к нему — как возврат нежности.

Со стороны дома отдыха все лились знакомые слова.

Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!

Вскоре пение стихло, и на реку возвратилась тишина. Только слабо гудел за поворотом водоструйный катер и, как всегда к любой перемене погоды — всё равно к дождю или к солнцу,— орали за рекой во всё горло беспокойные петухи. «Звездочёты ночей», как их называл Заболоцкий. Заболоцкий жил здесь незадолго до смерти и часто приходил на Оку к парому. Там весь день шастал и толкался речной народ. Там можно было узнать все новости и наслушаться каких угодно историй.

— Прямо «Жизнь на Миссисипи»!— говорил Заболоцкий.— Как у Марка Твена. Стоит посидеть на берегу часа два — и уже можно писать книгу.

У Заболоцкого есть великолепные стихи о грозе: «Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница». Это тоже, конечно, шедевр. В этих стихах есть одна строка, властно побуждающая к творчеству: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья». Заболоцкий говорит о грозовой ночи, когда слышится «приближенье первых дальних громов — первых слов на родном языке».

Трудно сказать почему, но слова Заболоцкого о краткой ночи вдохновения вызывают жажду творчества, зовут к созданию таких трепещущих жизнью вещей, которые стоят на самой грани бессмертия. Они легко могут переступить эту грань и остаться навек в нашей памяти — сверкающими, крылатыми, покоряющими самые сухие сердца.

В своих стихах Заболоцкий часто становится в уровень с Лермонтовым, с Тютчевым — по ясности мысли, по удивительной их свободе и зрелости, по их могучему очарованию.

Но вернёмся к Лермонтову и к «Завещанию».

Недавно я читал воспоминания о Бунине. О том, как жадно он следил в конце своей жизни за работой со-

ветских писателей. Он был тяжело болен, лежал не вставая, но всё время просил и даже требовал, чтобы ему приносили все книжные новинки, полученные из Москвы.

Однажды ему принесли поэму Твардовского «Василий Тёркин». Бунин начал её читать, и вдруг близкие услышали из его комнаты заразительный смех. Близкие встревожились. В последнее время Бунин редко смеялся. Вошли в его комнату и увидели Бунина, сидящего на постели. Глаза его были полны слёз. В руках он держал поэму Твардовского.

— Как великолепно!— сказал он.— Как хорошо! Лермонтов ввёл в поэзию превосходный разговорный язык. А Твардовский смело ввёл в стихи и язык солдатский, совершенно народный.

Бунин смеялся от радости. Так бывает, когда мы встречаемся с чем-нибудь подлинно прекрасным.

Тайной сообщать обыденному, житейскому языку черты поэзии владели многие наши поэты — Пушкин, Некрасов, Блок (в «Двенадцати»), но у Лермонтова этот язык сохраняет все мельчайшие разговорные интонации и в «Бородине» и в «Завещании».

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?

Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот, мы окружены шедеврами. Мы не сразу замечаем, как осветляют они нашу жизнь, какое непрерывное излучение — из века в век — исходит от них, рождает у нас высокие стремления и открывает нам величайшее хранилище сокровищ — нашу землю.

Каждая встреча с любым шедевром — прорыв в блистающий мир человеческого гения. Она вызывает изумление и радость.

Не так давно в лёгкое, чуть морозное утро я встретился в Лувре со статуей Ники Самофракийской. От неё нельзя было оторвать глаз. Она заставляла смотреть на себя.

Это была вестница победы. Она стояла на тяжёлом носу греческого корабля — вся во встречном ветре, в шуме волн и в стремительном движении. Она несла на крыльях весть о великой победе. Это было ясно по каждой ликующей линии её тела и развевающихся одежд.

За окнами Лувра в сизом белесоватом тумане серела парижская зима — странная зима с морским запахом устриц, наваленных горами на уличных лотках, с запахом жареных каштанов, кофе, вина, бензина и цветов.

Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решёток дует горячий ветер. Он чуть попахивает пылью. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих решётках неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи.

Это греются нищие. Величавые и зоркие луврские сторожа их не трогают. Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например, закутаный в рваный серый плед старик нищий, похожий на Дон-Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. Посетители тоже как будто ничего не замечают. Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных нищих.

Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим испитым лицом, в давно потерявшей чёрный цвет, порыжевшей от времени, лоснящейся тальме. Такие тальмы носила ещё моя бабушка, несмотря на вежливые насмешки всех её дочерей — моих тётушек. Даже в те далёкие времена тальмы вышли из моды.

Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потёртой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка.

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце.

Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решётки, чтобы её тотчас же не занял другой. Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один тяжёлый стул к калориферу и строго сказала старушке:

— Садитесь!

— Мерси, мадам,— пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась — так низко, что издали казалось, будто она касается головой своих колен.

Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места.

Болезненная красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал:

— Мерси, мадам!

Художница, не оборачиваясь, кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к её руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил героический поступок. Очевидно, это было действительно так. Он совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч».

Я шёл мимо нищих и думал, что перед этим зрелищем человеческой нищеты и горя должны были померкнуть все мировые шедевры Лувра и что можно было бы отнестись к ним даже с некоторой враждебностью.

Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его. Мраморные богини нежно склоняли головы, смущённые своей сияющей наготой и восхищёнными взглядами людей. Слова восторга звучали вокруг на многих языках.

Шедевры! Шедевры кисти и резца, мысли и воображения! Шедевры поэзии! Среди них лермонтовское «Завещание» кажется скромным, но неоспоримым по своей простоте и законченности шедевром. «Завещание» — всего-навсего разговор умирающего солдата, раненного навылет в грудь, со своим земляком:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остаётся жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А дальше идут слова, удивительные по своей суровости, прекрасные по своей печали:

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;

Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Эта скупость слов умирающего вдали от родины солдата придаёт «Завещанию» трагическую силу. Слова «и чтоб меня не ждали» заключают в себе огромное горе, покорность перед смертью. За ними видишь отчаяние людей, невозвратно теряющих любимого человека. Любимые всегда кажутся нам бессмертными. Они не могут превратиться в ничто, в пустоту, в прах, в бледное, тускнеющее воспоминание.

По напряжённой скорби, по мужеству, наконец, по блеску и силе языка эти стихи Лермонтова — чистейший неопровержимый шедевр. Когда Лермонтов писал их, он был, по теперешним нашим понятиям, юношей, почти мальчиком. Так же как Чехов, когда он писал свои шедевры —«Степь» и «Скучную историю».

Голос над рекою затих. Но я знал, я был уверен, что услышу его снова. И голос не обманул меня. Я даже вздрогнул — так ожиданно зазвучали первые слова:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною,
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

Я бы мог слушать эти слова и сто и тысячу раз. В них так же, как и в «Завещании», были заключены все признаки шедевра. Прежде всего — неувядаемость слов и неувядающей печали. Слова эти заставляли тяжело биться сердце.

О вечной новизне каждого шедевра сказал другой поэт и сказал с необыкновенной точностью. Слова его относились к морю:

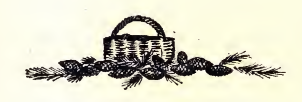
Приедается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь и сводишь на нет.

В каждом шедевре заключается то, что никогда не может примелькаться,— совершенство человеческого духа, сила человеческого чувства, моментальная отзывчивость на всё, что окружает нас и вовне, и в нашем внутреннем мире. Жажда достигнуть всё более высоких пределов, жажда совершенства движет жизнь. И рождает шедевры.

Я пишу всё это осенней ночью. Осени за окном не видно, она залита тьмой. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнёт настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных чёрных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнёт перешёптываться с последней листвой, облетающей непрерывно и днём и ночью. И блеснёт неожиданным светом звезды, прорвавшейся сквозь волнистые ночные туманы.

И всё это покажется вам великим шедевром природы, целебным подарком, напоминающим, что жизнь вокруг полна значения и смысла.

*1963*



## СОДЕРЖАНИЕ

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ПАУСТОВСКИЙ

Рассказы

*Ташкент «Ўқитувчи» 1983*

Ответственная за выпуск Т. И. Язвина
Художник В. Хожаннов
Художественный редактор В. П. Слабунов
Технический редактор Н. Комиссарова
Корректор Л. Юлдашева

ИБ № 2706

Сдано в набор 20. 12. 82 г. Подписано в печать 15. 06. 83 г. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 3. Кегль 10 б/шп. Усл. п. л. 10,08. Изд. л. 10,20. Тираж 100000. Заказ 101. Цена 45 коп.

Издательство «Ўқитувчи». Ташкент, ул. Навои, 30. Договор 14—255—82.

Типография № 2 ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Янгиюль, ул. Самаркандская, 44. 1983 г.

Р
П 21

**Паустовский К. Г.**
Рассказы. Сост. и авт. вступит. статьи Л. П. Кременцов.— Т.: Укитувчи, 1983.— 192 с.— (Б-чка узб. школьника)

**Р2**

№ 389—83
Гос. б-ка УзССР
им. А. Навои.
Тираж 40000
Тираж карт. 80000

В 1983 году в серии «Библиотечка узбекского школьника» выйдут книги:

1. *А. Н. Толстой.* Золотой ключик, или приключения Буратино.

2. *В. Гауф.* Маленький Мук.

3. *Р. Киплинг.* Сказки.

4. *Н. В. Гоголь.* Тарас Бульба.

45 к.

«ЎҚИТУВЧИ»